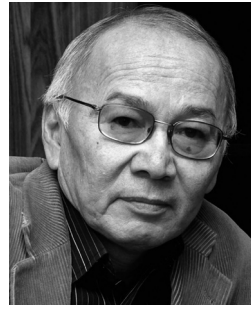


Дюсенбек  
Жакипов



## ВЕЧНАЯ МАМА, или Камушки в потоке (Главы из романа)

*Всем добрым матерям посвящаю*

### ПРЕДВЕСТИЕ ПЧЕЛЫ И МУХИ

В начале каждой осени в мое открытое окно на кухне залетает по мухе, пчеле и... голубю. Я к этому привык и даже утешаюсь тем, что еще не совсем забыт в этом мире.

Этой осенью уже было два голубя и ни одной еще мухи и пчелы. С последним понятно: они прилетают умирать или, видимо, засыпать, а вот с голубями прошлого ответа нет...

Первый голубь сел на подоконник в начале сентября, который выдался холодным, и стал пристально смотреть на меня. Я медленно подошел к окну, но он даже не моргнул. Глядел на меня и будто чего-то спрашивал. Выкурив сигарету, я отошел в комнату с телевизором, а когда вернулся, чтобы еще разок покурить, голубь уже сидел на внутренней стороне подоконника и словно ждал меня. Я остановился в метре от него, но он продолжал упорно смотреть мне в глаза и даже не шелохнулся. Не знаю, сколько это продлилось бы, если бы вновь не отошел к телевизору, несколько озадаченный. Что шло по телику, уже было неважно, я просто переключал каналы. Новостные вперемешку с другими, пока не остановился на программе «Мир животных». Там шел сюжет из Африки, и на меня уже взирала птица-носорог, изредка с упреком наклоняя головку с хохолком, будто вопрошая: «Что же ты так? Мол, сидит у тебя на подоконнике голубь-гость, а ты здесь, через стенку». Пришлось встать и выйти на кухню. Голубя уже не было, и я ощутил некоторые укоры совести, хотя понимал, что это все полная чушь.

В легком внутреннем смятении я стал думать о том давнем дне, когда увозил из городской больницы свою очень больную маму в сельский дом в Каракемире, где ее ждали младшие сыновья и дочери. К тому времени, когда мы подъехали к дому, мама была почти весела. Она вошла во двор, обнялась с детьми и сразу же взялась хлопотать у самовара, как ее ни отговаривали. Она тихо приговаривала, что, дескать, напою сына чаем, а уже потом отдохну-прилягу. Все так и было, а



затем мама поковыляла посидеть под свою большую тенистую яблоню. Она рассыпала вокруг коврика горсточку зерна-толокна, и вскоре к ней слетелись голуби. Мы, дети, смотрели на это с крыльца, и все понимали, что вот так же мать всю жизнь кормила нас, как могла, и теперь вспоминала, наверное, что-нибудь о каждом из нас из давнего далека. То, что было сокровенным для нее самой, а нами давно забытым в суете взросления. Сколько это продолжалось, я не помню, но все голуби, вдруг – все разом, взлетели, будто их кто спугнул. Мать помахала им рукой и как-то виновато посмотрела на нас, удаляясь в свои последние мысли.

Умерла мама ровно пять дней спустя, в пятницу, когда я дебютировал в балете «Пульчинелла». Позже я понял, что таким вот образом попрощался с матерью. Через день мы – дети и соседи – хоронили ее на кладбищенской горе, над речкой, беспечно несшей вдаль свои чистые воды...

Вот о чем напомнил мне этот несносный голубь с вопрошающими глазками-блестяшками. С тоски сел по обыкновению писать, и постепенно меж букв-строк потерялся и забылся тот залетный голубь.

Первые дни сентября случились пасмурными, без солнца, так что горных пиков не было видно, а по утрам часто выпадала хрустальная роса. Вдоль бетонного берега Большой Алматинки, где я имею привычку совершать свою ежедневную пробежку, обычно шастали три бездомные собаки неизвестной породы, что очень контрастировало с тем, как прогуливали элитных собак солидные мужчины и пожилые дамы, брезгливо поглядывая на грязных родичей своих холеных питомцев. Откуда им всем знать, что я родился в год Собаки и мне суждено любить всех собак оптом – вшивых и холеных.

Да бог со всем этим, зато всегда великолепны серые вершины Ала-Тау, что высятся выше по току Большой Алматинки, в дальней близи – перспективе, меж землей и небом. И какое дело этим чудо-вершинам до наших сует и буден, но верится, что они помнят всех людей, живших здесь много тысячелетий назад. Может, и нас, нынешних, запомнят и не забудут...

Лично мне кажется, что вот эта пирамидальная гора-вершина, прямо по току реки, излучает тайное-тихое сочувствие персонально мне. Ну да ладно об этом. Ведь я еще ничего не сказал о втором голубе.

Случилось это всего-то дня три назад, когда начался столь мной любимый сезон золотой осени. В Алма-Ате она особенно великолепна. Живая живопись!.. Природа будто довольна своими делами, заботливо украшает деревья теплой позолотой, даря листьям и кронам последнее утешение перед тем, как они падут к своим родительским корням. Стоит неслышная звень, синь густа, и по ней плывет зрелое яблоко солнца. Эх-х!.. если бы не печали... В тот день мне пришлось идти на съемки телепередачи в наше хореографическое училище имени незабвенного Александра Селезнева, благодаря которому я когда-то попал в балет и уехал в московскую школу танца...

В тот день после посещения училища мы с коллегой должны были доработать-допечатать мою большую рукопись, но разговор принял оттенок отчаяния с печалью, работа не пошла, и... вдруг захлопали крылья. Я вышел в прихожую. На абажуре лампы сидел... голубь. Он посмотрел на меня вопросительно-пристально. Вконец озадаченный, я вернулся к коллеге на кухню, где мы и продолжили прерванный разговор о злополучной стройке.

За окном, вдалеке блеснула молния, а за нею докатился приглушенный гром... Отчего-то вспомнилась покойная бабушка. Она рассказывала, что в ее девичестве, еще в Баянауле, до «большой войны», так шарахнуло молнией, что она вскоре вышла замуж токалкой – стала второй женой нашего деда. Через год, отчего-то в грозовую ночь, у нее родилась дочь – моя будущая мама...

Почему это воспоминание вклинилось в рассказ, я не знаю – может, оно было как-то связано со вторым голубем, которого через час пришлось изгонять. Перед тем как вылететь в начинавшуюся грозу, голубь опять пристально взглянул на меня. И тут мне вдруг подумалось: «А не тот ли это первый голубь?..» Второй голубь выпорхнул, вскоре ушел и гость, а на меня накатила тоска-печаль...

На то и осень... Окно мое открыто. Жду свою золотую пчелу и полусонную вещую муху. Думаю, вскоре прилетят. Следом придут и воспоминания – о родных и друзьях, ушедших до срока в мир иной, в небеса...

Кончается день, и скоро блеснут первые звезды, рассыпанные с лодочки полумесяца невидимой рукой. Ясно, погоже, хорошо, но все-таки скоро осень, а с нею дожди и прочая морось-морока повседневно...

Ах, золотая пчела-печаль! Прилетай. Помогии вспомнить. Подождем вместе третьего голубя. Может, это душа моей Мамы хочет поговорить со мной?..

## ГЛАВА 1

Живущий-незримый возлежал Айдахар – крылатый дракон на белых пиках Ала-Тау и обозревал город и степную даль до горизонта. Его разбудило глубинное колыхание земли под горами, как грозное предзнаменование грядущих бед и катастроф. Айдахар выполз из пещеры своей древней и вполз на эти вершины, еще не зная, что должно ему делать и кто враг ему ныне. Город едва был виден из-за густого смога-тумана ядовитого и томился первозданным страхом возможной беды. И прежде уже сотрясалась земля под ним так, что с гор сползали грязные потоки камней и глины, затопляя-губя дома и людей в них, сады и огороды обихоженные, снося вековые деревья и однолетние цветы, ибо сель этот, по сути, являлся второй оборотной сущностью дракона-Айдахара, который теперь возлёт на вершины. Нет, не людям он желал возмездия, а тому устройству жизни, что унижает и простор, и даже синь небес, где должно бы летать Айдахару, а не дремать под землёй. Когда-то, в сухие годы, когда в эти благодатные края пришли из-за дальних гор шершни-жонгары, Айдахар уже просыпался, и взял сторону жителей этой равнины, и незримо от них, но вместе с ними сокрушил шершней, дав медоносным пчелам творить мед густой-золотой-сердцелечебный.

А что теперь потревожило его? И сон блаженный стряхнул Айдахар, даль оглядывал, моздрями широкими стал впитывать запахи-шумы-тревоги, чтобы знать, как ему поступить. И он уловил гнилостный дух тайных злодеев, решивших завладеть тем, что в степях должно делиться меж всеми, как с равными. То, вероятно, был клан самоизбранных властителей жестоких, как те шершни, которым бы только улей разорить да мёд испить. Нет, думал Айдахар, оглядывая даль, если уж проснулся, то надо делать то, что небесам угодно, чтобы приняли они его, как родного летуна, а не дракона злобного Айдахара... Дай силу мне, Небо...

Небо легко вместе с ветром передвигало облака, менявшие свою форму, то медленно, то быстро. Какая-то невесомо-невероятная, тихо-волшебная тайна творилась наверху, пока земная жизнь шла своим особым, не менее таинственно-чудным образом.

На берегу большой степной реки молодая мать доила недавно отелившуюся по весне корову. Тёлка была ее любимицей, и она ласково называла её – Доченька! Доила мать тёлочку на берегу реки, катившей небыстрые волны от своего неведомого истока под шелест прибрежных камышей и кружение маленьких воронок в излучинах берега. Рядом рос высокий тополь-тал, чуть слышно шевеля листвою и будто думая о чем-то своем древесном, давнем. Мать была еще совсем молода и беспечно отнеслась к тому, что была уже на сносях. Ведро гулко звенело от тугих струй молока, как вдруг у беременной молодухи стали отходить воды. Тихо охнув, мать отползла к стволу тополя, села на траву под ним, вся внезапно вспотев от испуга.

Первый её вскрик совпал с пением кукушки, только что снесшей свое пестрое большое яйцо в воробьиное гнездо, затаившееся где-то среди тополиной кроны. Дойная Доченька круглила глаза на стонавшую мать, враз забывшую про дойку и бурёну, мычавшую от своей коровьей досады. Роженица под деревом натужно стонала, растерянно оглядываясь. Кругом был все тот же безмолвный простор, прерываемый только плачем кукушки.

Раздался легкий топот. Это теленок подбежал к матери-бурёне и ткнул мордочку прямо в вымя, едва не опрокинув ведро с молоком. Роженица под деревом еще раз глухо застонала... и сразу раздался новый крик, слившись с журчаньем реки и кукованием невидимой кукушки.

Так, в начале июня первого года после большой войны на берегу Иртыша под мычание коровы, тихий щебет воробьев в кроне тополя и плач кукушки родился крепенький головастый мальчик – первенец Матери, которому она по природному зову перегрызла пуповину и завязала ее простым узлом. И тут поневоле ей вспомнился отец младенца, с которым она сошлась сразу после войны. По-житейски сложилось так, что ее сосватали за другого хорошего человека, с образованием, но ему пришлось срочно призваться в армию, чтобы избежать ареста по навету. Дескать, он антисоветски настроенный элемент, на которого НКВДешники «казахского разлива» тут же завели дело. Вот он-то, ее несостоявшийся муж, и вспомнился под деревом, пока Мать оборачивала белым головным платком и нижней рубашкой своего сопящего первенца. Бурёна-Доченька, между тем, вместе с теленком уже пошли к родному двору, согласно своему животному зову возвращаться в стойло.

Сколько она пролежала под деревом, как начала кормить младенца грудью, Мать не помнила, пока не задремала. Очнулась она под заполошные вскрики собственной матери, которая догадалась по жалобному мычанию коровы, что случилось с дочерью.

Пока несли новорождёныша к дому, погода стала меняться – не то к дождю, не то к пыльной метели, как мысли шагавшей рядом (теперь уже) бабушки. Уже слышались голоса из малого аула, кое-кто бежал за суюнши – вознаграждением за добрую весть. Слышался и плач тех, кто уже никогда не дожидется родных и близких с войны-туготы. Пыль воронкой унеслась к небу, молча тяжелевшему тучами. Да и пора бы дождю быть после ранних и скудных майских дней, чтоб посевам не пропадать.

– Внук родился! – кричала бабушка. – Хорошая примета, к урожаю! Режьте старого барана-кошкара. Он свое дело сделал, приплод получили хороший, а теперь пусть жертвенной кровью своей путь земной окропит мальчику нашему. О, аруахи! О, святые!

Много позже, когда уже Мальчик уйдет за первые и другие круги от родовины своей, Мать будет гадать, что значило то тоскование кукушки при внезапных родах и та пыльная метель, а затем и краткая яростная гроза, чьи молнии запалили старый стог сена за сараем. Многое тогда сдвинулось с места, и они тоже переехали в город над рекой, и маленькую юрту свою сложили надолго кипой серого войлока, а шанырак родовой так и не поднялся потом на жайляу-кочевье. Разве что тот тополь, под которым родился Мальчик, всё креп и рос год от года, и никакие кукушки-кликухи были ему нипочем.

\* \* \*

В далеко-давние времена, когда Великая степь была покрыта морем, а протоказахи по берегам занимались рыболовством, появился близ этих мест странный скиталец, от которого пахло тревогой, а глаза боролись между собой. Гостеприимство аборигенов уже тогда не имело меры, и потому скитальца приняли, как родного или как знамение. К тому же скиталец оказался искусным рассказчиком-сказителем и объяснил протоказухам, как огромен мир и что земля кругла. Это вызвало недоверчивый смех, но чего не выслушаешь у костра под рыбью похлебку и травяной напиток из глиняного горшка на углях. Рассказал скиталец и о том, что земля здесь поднимается, чтобы быть ближе к небу и однажды станет степью-сушей с обильными травами. Над этим тоже посмеялись, как и над тем, что скитальца зовут Ольмес-Бессмертный и когда-нибудь его назовут прародителем-аруахом. Но всё случилось по слову Ольмеса-скитальца. Степь поднялась из-под моря, на ней зацвела трава, засеребрился ковыль, а вскоре появились отары овец, а бывшие рыболовы стали пастухами-чабанами. И тогда только они вспомнили Ольмеса и назвали его своим аруахом-провидцем. В благодарность за память Ольмес отдал своим адептам-протоказухам малый табун небесных коней, годных для приручения. Так в поселении Ботай, меж степью и лесом, была приручена первая лошадь, от потомства которой появились кони невиданной красоты, годные на службу человеку, а пастухи стали первовсадниками, вольными казахами. И так стали прозываться много позже и доньше. И мы будем носить это имя народа во веки веков.

*...В высоком небе, на Млечном Пути, Вечная Мама порой привечает Ольмеса-Бессмертного, подарившего ее народу коней и гордое имя Казах – вольный человек. Если кто не верит, то пусть послушает волшебную домбру Времени. О, аруах!*

\* \* \*

В незапамятные времена у Алтун-горы разразилась невероятная гроза. Молнии не помещались в небе и, сталкиваясь, падали-ударяли в землю. Одна из молний ударила прямо в волчье логово, откуда успела выпрыгнуть молодая волчица с опаленной шерстью. Она постояла у вспыхнувшего логова, где навсегда остался ее первый выводок и верный самец-волк, отец ее детенышей. Гроза продолжала буйствовать, и полосовать молниями черное небо, и рвать

землю тугими бичами струй. Волчица-мать, устав выть от тоски и неведомой боли, к утру побежала в низину, где было потише. В ту же ночь другая молния ударила в жилище людей и спалила его почти дотла. Недалеко, в канаве, лежал мальчик-младенец, которого успела спасти его мать. Он так и не узнал того, что Мать инстинктивно бросилась обратно в горящее жилище за другими детьми, но своды жилища рухнули, и она осталась там со всей семьей, ставшей вскоре единым пеплом.

На рассвете, когда гроза утихла, волчица услышала писк и, повинувшись неведомой силе, с опаской подошла к канаве, где лежал человеческий младенец. И опять неизвестно зачем волчица-мать подхватила ребенка и понесла его обратно к горной чаще. Вокруг дымились пепелища, в дальних лесах еще полыхал огонь, но вершины Алтун-горы и ее сестер-гор уже вновь бесстрастно белели-возвышались над утихшей стихией воды и огня.

Так неожиданно волчица-мать обрела новое дитя под песню высоко летящего жаворонка...

\* \* \*

День этот в середине декабря 86-го года ушедшего века был поначалу, то есть с утра, вполне заурядным. На пятом этаже нового здания Гостелерадио в Алма-Ате режиссер Аскар, или, как он сам порой шутил, – «Оскар для своих», вёл монтаж планового телефильма по очень странному, можно сказать, экзотическому, сценарию, но он чуял, что тут есть своя пока скрытая «фишка», и это может сработать в эпоху смутных перемен нового «московского лидера с родовой меткой на лбу». Буквально на днях всех шарахнула молния – решение Москвы назначить 1-м секретарем ЦК компартии Казахстана никому в степях не известного деятеля, некоего Колбина, которому злые степные шутники тут же дали кликуху «колбастык», имевшую скрытый казахский подтекст – «ручной бастык». «Как так? – думал Аскар-Оскар, глядя на чуть запорошенную снегом главную площадь республики. – Вчера только был всеми почитаемый Кунаев, и вдруг, откуда ни возьмись эта новая “колбаса”, номенклатурная закуска из Кремля. Своих что ли казахов-выдвиженцев нет?..» Сильно заболела нога, когда-то в молодости травмированная в футбольном азарте. «Тут один эпизод двухминутный не можешь склеить уже неделю почти, а у них там все просто. Бац, и новый бастык. А зачем же тогда «Горби с родовой меткой» говорил о новой стратегии на гласность-согласие с народом? Обещал демократизацию партийной политики, а получилось – «как всегда колбаса» или, как это еще называется на простом народном жаргоне, «х...». И Аскар-Оскар вызвал одного «экзотического сценариста», чтобы написать этот самый неудобный эпизод для фильма.

Сценарист объявился неожиданно скоро с объемистой сумкой, где было (как говорится) всё! Он весело возгласил: «Друзья! С меня причитается. Позавчера я получил “авторские”. Да какие!» Деваться было некуда. Этот везучий сценарист за свою недавнюю экранизацию видеофильма по мотивам Киплинга получил высшую категорию, фильм был показан по первому каналу ЦТ СССР, что для Казахстана стало местной сенсацией, за которую, оказывается, еще и недурственно платят. «Верно, и мне что-то перепадет», – подумал Аскар-Оскар, поздравляя везунчика. Тут объявился музыкальный редактор фильма под руку с актрисой.

сыгравшей в том опусе главную женскую роль. Её кандидатуру предложил сам сценарист-везунчик после двух-трех неудачных проб претенденток. К общему удивлению, актрису утвердили – и она, кстати, не подвела...

За широким окном тихо сеял снег свои легкие зерна. Через пару рюмок пошли покурить к стеклянной стене и увидели на площади фигуры молодежи с самодельными плакатами. Их становилось все больше, а на втором перекуре с двух сторон площади появились люди в касках, с щитами и сомкнули свои ряды. Тут кто-то пошутил: «Аскар, ты что решил крупномасштабный фильм снять? Растешь, брат. У тебя массовка будь здоров какая». Все засмеялись, а оператор по профессиональной инерции стал снимать на телекамеру эту непонятку за стеклом. Только было рюхнули по третьей, как вошел один из администраторов телецентра и как-то подозрительно строго сказал: «Так. Быстро закругляйтесь. Там у служебного входа стоит автобус. Все туда. Десять минут на сборы».

Чуть поворчав, собрали все со стола и вышли, обсуждая, где продолжить столь хорошо начатое. Снежок на улице бодрил и шел в масть общему настрою. Автобус тронулся, как потом оказалось, совсем в другое время-измерение, а город бледнел-белел то ли от снега, то ли от недоброго предчувствия неких не совсем обыденных событий...

За другим уже столом, в старом домике полусаманном на Первой Алма-Ате, среди разговоров (отчего-то невеселых), Аскар-Оскар вспомнил про деда своего покойного, который порой шутил некстати на могильные темы по старости-мудрости своей. Дескать, сказал он как-то: «Хочешь умереть беспечально, сыграй бесшабашный кюй на домбре. Видать, недаром кот гнездо разорил и воробьят съел. Природа у него такая. Так что на него обижаться? Хуже, когда волки по зиме холодной овчарню разорят да овец загрызут без разбору». В общем, невеселое то получилось застолье, хотя и шутить пытались, конечно.

Роща Баума, где они сидели, издавна слыла темным местом, хотя сам немец-основатель имел у казахов доброе имя. То было еще в царские времена, и не началась ещё дикая резня на исходе царя бесхребетного и старте чисто русского дикого буйства, когда ни бога в душе, ни революции в уме. Однако в Верном роща разрослась и темной славой обзавелась в расстрельно-ссылные тридцатые годы, когда от большевиков, как пришлых, так и своих, гибло без счета народа разного и честного. Одни коней-баранов множили, другие хлеб сеяли, третьи ремесло всякое знали, да не повезло. Теперь-то что рассуждать да мерить ситом воду, но когда в роще Баума сидишь и бесшабашное в тебе ходит хуже пьяни, то и не то вспомнишь. То-то от площади не фильмом веяло, а чем-то похуже-скверней. Уж лучше тут в роще, чем там – на площади. Рядили всякое, пока сценарист не заснул впьянь, а режиссер, тоскливо глянув в изморозное окно, вновь не вспомнил вчерашнюю площадь. Даже на икоту повело. Предчувствие всегда хуже того, что случается.

\* \* \*

...Он уже много лет жил в этом доме и в этой квартире, где давно прохудились трубы. И вот однажды утром в эти самые трубы утекло его время. Полностью, с неприятными звуками, скворча, с легким запахом застарелой тины. Вот так он и оказался в чужом времени в начале апреля, когда уже трава начинает идти в рост и обещает хорошее настроение.

Неожиданно около магазина к нему подошла ладная женщина с глазами слишком ясными для лжи и сказала без обиняков:

– Сколько у тебя непришитых пуговиц?

– Не помню, – растерянно ответил он.

– Ну, тогда пойдем вспоминать, – сказала она непринужденно и повела его в другое время, где он оказался так внезапно. Здесь, на первый взгляд, все было знакомо, но чуть-чуть иначе. Дома отстояли дальше, как на картинках, а улицы обрывалась как раз по краю городского пейзажа. Дальше была аллея, парк, смех и необыкновенная легкость во всем. Она уверенно вела его в этом чужом времени, пока он пытался вспомнить, сколько пуговиц осталось в том, утекшем в трубу времени. Здесь он стал другим и жил счастливо еще много лет, а ее называл просто: Она!

У нее была замечательная особенность. Все делать без причины и просто так. Легко...

Время в этой стране не очень спешило вперед, как это бывает с рекой в половодье, и вместе с днем-сегодня ясно виделось и то, что, казалось бы, ушло давно и почти позабылось, как столетнее вчера. Так что и вспоминать, и жить сейчас было естественно, ибо женщина-Память обладала свойствами настоящей волшебницы. И потому вспоминалось даже то, чего ни с ним, ни с другими не случилось, но это было много интереснее любых воспоминаний.

Вот одна из таких вспышек подсознания... Соседка из давнего детства в селении у гор решила порадовать мужа, который уже с неделю не пил, уходя по утрам на целый день дробить камни на щебенку. Так вот она умудрилась поймать старого петуха, вспотев до синего пота, пока куры наблюдали, как заполошно носится по двору их обреченный тиран-муж-петух-топтун. Пока петух гаркал что-то непотребное, соседка одним рывком свернула ему шею, улыбаясь чему-то далекому-потаенному. Но тут петух вырвался и со свернутой головой принялся носиться по двору, разбрызгивая свою кровь – красную и гордую. Соседка вновь было бросилась за ним, как петух неожиданно развернулся и пошел на хозяйку, как бык на арене корриды, болтая полуоторванной головой. Куры перестали кудахтать и уставились на эту невиданную сцену... хозяйка позорно бежала на своё крыльцо, а петух, мотая окровавленной башкой, гордо взлетел на забор и взмахнул крылами, намереваясь победно кукарекнуть. Это был миг его славы, после чего он наконец-то рухнул вниз. Что было потом с петухом, соседкой и ее мужем, неизвестно, но в тот день сель снёс горное озеро Иссык...

Начало этой легенды затерялось где-то в череде-тумане веков, но, вероятно, что без света керосиновой лампы, которая в осенние и зимние вечера становится чем-то вроде казахской лампы Алладина, когда бабушки-ажешки наши после дневных хлопот и вечернего чая садятся прясть шерсть или кроить корпе-одеяло из лоскутков старых. Так и эта легенда становится чем-то пестрым-волшебным, чего не могло бы случиться при иных обстоятельствах. Постепенно по ходу рассказа бабушки так фантазировали, что легенда много раз трансформировалась, но основа ее оставалась более или менее узнаваемой, однако, подобно корпе, всегда грела наше воображение перед сном. Итак...

В давние времена, когда ни земля, ни море еще не имели пределов своих и берегов, а горы только начинали подниматься к белоснежным братьям-облакам, наш общий предок Аргын-ата задумался о том, как сотворить душу казахов



так, чтобы ни один враг не смог устроить её, ни тем более победить. Ведь ничего дороже воли в жизни нет, так что понятие «вольный казах» переняли даже русские казаки, бежав от бояр и царя своего. В общем, еще издавна врагов у аргынцев было много: с юга грозили бухарцы – ортодоксы мусульманские, с востока безбородые китайцы, подданные-рабы императора, с севера появлялись свирепые беловолосые люди в мохнатых одеждах, потрясая мечом и крестом, – так была вожделенна просторная степь с бесчисленными табунами коней и стадами жирных овец, а про дичь всякую и говорить не приходится. На ту пору и матушка-природа была молода и не знала удержу в страстях своих: то лютым бураном грянет в начале весны так, что скотине не добраться до травы, то таким ливнем зальёт зацветшую степь, что хоть коня в лодку впрягай, а то и засухой-тоской обернется, будто мачеха злая. Да и сами казахи не всегда меж собой мирно жили: и барымтой грешили, и дев юных крали средь бела дня, коль влюблялся кто в смуглянку с косами и косыми глазами, и драки затевали до крови на скачках-байге, споря – чей конь лучше. Вот в такие времена и задумал Аргын-ата дать казахам порядок-закон и вольную душу как-то приструнить, абы зло невольное не сотворили. Ко всему еще и неожиданный джун-безтравье и засуха летняя-долгая делали и людей, и волков голодных лютыми и безжалостными, словно ими правила Мыстан-кемпир или албасты-выродок свирепый. Так что Аргын-ате надо было либо меж двух пожаров пройти, либо в лютом морозе не погибнуть. Кстати сказать, в тотеме тюрков издревле обозначен волк, а вот у римлян чтят волчицу-мать с двумя волчатами Ромулом и Ремом, из которых, говорят, выжил только один...

Но вернемся к казахам. Однажды-давно Аргын-ата во время ночной грозы увидел, как волчица спасает выводок свой из подожженного молнией горного леса на Алтае, и потому отдал ей частицу души своей. Волчица приняла дар, а наутро, когда гроза утихла, Аргын-ата увидел, как жаворонок поднял в клюве легкое гнездышко свое с птенчиком и спрятал в густой шерсти белой овцы, а затем с песней взвился в высокое небо. И жаворонку тому смелому и смекалистому отдал Аргын-ата частичку души своей, удивившись бесстрашию птички малой и великому ее умению петь даже в момент испытания-беды. Вот так и живёт с той поры душа Аргын-ата в его потомках в двух воплощениях: одно – в вольной волчице, другое – в певчем жаворонке. Потому и стал таким весь род аргынский: умен, как волчица, и поет, как жаворонок, и любовь к воле имеет двойную. Жаль только, что не всякий аргын может ужиться даже с самим собой: то ли волчьим умом-храбростью жить, то ли певчим талантом жаворонка кормиться?

Одно неизменно в веках: никогда и никому не отдаст казах волю свою – будет ли он темной ночью сторожить родное логово, охраняя потомство своё, как та волчица-мать, или на рассвете петь и летать над степной ширью и птенцов своих растить в вольности жаворонковой.

А вот о том, в ком живет теперь душа волчья или дух жаворонка певчего, бабушки могли и поспорить, теребя шерсть овечью. Одна говорит: «В мужчине волчье, а в женщине – птичье». Другая возражает: «В женщине – волчица, а в мужчине – жаворонок». Но как бы то ни было, жаркие споры не мешали и корпе-одеяло кроить, и песнь за пряжей петь. Такова уж она – душа казахская вольная-певчая-храбрая. Спасибо, Аргын-ата, за наследство такое.

\* \* \*

*Скоро ночь, и я снова плачу. От чего? От печали сознавать печаль. О чем? Наверное, о невозвратном... о детстве, скажем, о старой игрушке, даже если она была деревяшкой, заменявшей коня. Получается, что жизнь протекла сквозь песок. Но в песках есть свой забытый оазис. Остается надежда, что он найдется, и я там останусь, чтобы излечиться от усталости. Или обрету воспоминания о лучшем или худшем... в том оазисе между ними нет разницы... они сестры души моей, и им есть что вспомнить. Таков мой оазис в три пальмы и с одним родником по имени печаль, которая теперь сестра моя...*

*Стоит ли печали жизнь моя? По простой арифметике я встречал 70 вёсен, веселился 70 лет под солнцем, грустил под семьдесят зим, укрываясь одеялом воспоминаний. А если осмотреться под другим углом, то я прожил четыре жизни, включая осень, то есть 280 лет. Стало быть, я уже счастливый старец. Такова моя арифметика, печаль-сверстница...*

*А как исчислить мечтания мои за все прожитые годы? Их за один день или месяц бывало больше, чем лет мне теперь. Больнее всего то, что исполнилось их меньше, чем пальцев на руках. Мысль об этом тоже пронзительна, как песня кукушки. Она плачет о своем птенце, оставленном в чужом гнезде. Стало быть, и мечты мои стали сиротами при мне живом. Как же не печалиться от мысли этой. А? Печаль моя...*

\* \* \*

У отрогов северного Алтая рядили тризну по великому вождю-воителю народа степного-попынного, что называл в те дни себя сиротами-сорлы-скитальцами. С гор алтайских потоками стекали ручьи-реки, а из человеческих зрачков – слезы кипящие, пока сердца стыли в холоде горя. На вершинах снег, а в полях ромашки, которые по поверьям древних кочевников – автохтонов степей считались знаком солнца и материнства, а лепестки – символом многодетности.

Те времена затем вошли в казахские легенды и мифы. Ведь герой – вождь еще в молодости отразил-поверг злобных и многих числом разбойников из пустынь и гор востока и севера, забрал их железо и золото, а имена втоптал в грязь и прах, чтобы вспоминались только вкупе со змеиным отродьем-племенем. А пока еще на заре оскально-улыбчивые джигиты ловко и скоро ставили огромные пиршественные казаны-котлы на круговые камни очагов, девки-молодухи уже несли в кожаных ведрах-бурдюках воду горную-хрустальную из священного родника, что тек прямо из чрева Алтая, и заливали прозрачное благо в уже поставленные казаны, призывно-робко улыбаясь парням крепким, как местные талы-карагачи или дубы с шапчатými желудями-зернами вольного ветра и простора.

А дальше, в неглубоком овраге, по дну которого текла речка на северную-скверную сторону, другие молодцы валили нежеребых еще кобылиц и их полеток-жеребцов, не знавших еще кобыльего лона-дурмана. Густая, еще пахнущая свежей ночной травой кровь жертвенная лилась в русло ручья, ржали и хрипели те, которым только спутывали ноги, жаждущие вольного скока-бега... Ан, нет! Знали молодцы дело свое, ибо также в битве-походе валили с ног вражьих коней со всадниками-ворами и разом-взмахом одним калёной сабли-шашки отсекали им их неразумные головы. Ниже по течению этого алоносного потока другие парни-подростки резали горло баранам-овцам годовалым, одним рывком

срывали с них шкуры с запахом страха. Разделявали туши еще ниже по току ручья крово-обильного, и то делали дети побежденных племен, выросших уже в подчинении-неволе.

Между тем в белых юртах, на стоке чистых ветров и вод, у подножия священной горы сидели старцы-мудрецы и мужи-вожаки нынешних времен, обсуждая, где ставить юрты знатным гостям, где соперникам-врагам дальним и ближним, которые по старозаветному правилу, забыв на время кровь-месть, приедут до трапезного еще часа. Прикладывали и осматривали и дары погребальные, подробно обсуждая, кому и что будет вручено и в каком порядке. Отдельно рядили дары врагам своим недавним, ибо и их по обычаю надо уважить, чтобы помнили имя вождя и врага своего и по-пустому не правили коней в эти места, где нельзя было многие годы воевать-враждовать с кем-либо. Дело такого погребения и тризны непростое и случается редко, а потому и память об этом надо впечатать в камень-утёс так, чтобы многие годы не забылось оно, а имя народа, почитающего предков своих и предания о них, было памятно долго и дошло до тех мест, куда только может долететь ветер, что рождается сейчас у белых снегов вершинных.

На стыке альпийских трав и снега уже отрыли большое погребение, укрепили стены стволами столетних горных елей в три ряда (стоймя, поперек и вновь стоймя, связывая каждый ряд кожаными ремнями), сверху залив смесью глины, животного жира и белой извести из ближних залежей на западе. На дно погребения, поверх каменных плит также положили ряды особо толстых стволов. То делали спокойные суровые мужи, знавшие порядок-обряд таких погребений. Они же снаряжали особую колесницу из каленого железа, со ступицами из золота горного-тайного. Девять коней обряжали в богатую сбрую с золотыми накладками и удилами, а в гривы вплетали сон-траву с горных пастбищ, а с лугов брали стебли вечных трав, неувядающих даже зимой. Неподалеку трое юношей – последний возникший, оруженосец и слуга (все сыновья знатных родов-семей) спокойно курили дурманную траву-хаому из дальних степей на юге, зная судьбу свою неотвратную, почетную – вечных стражей последнего сна великого вождя-воина, который вскоре станет святым аруахом-духом небесным. Снизу, от гостевого аула слышались звуки скорбных труб-свирелей, гулкое эхо бубнов, душервущие крики-стоны плакальщиц. Мужички печали стали подбивать копыта жертвенных коней золотыми подковами, надевать последнюю сбрую и впрягать скакунов в повозку вечности, ставя ее перед пологим спуском в погребение. Трое юношей поднялись и заняли свои места. Снизу появилась похоронная процессия, голоса плакальщиц смолкли, а старцы мудрые и вожди наследные сотворили поклон и стали подходить к яме сакральной.

Позади них несли на помосте тело Вождя-Аруаха, обернутого в ткани, пропитанные пряными смолами и травами. Старцы и вожди подняли взоры-вежды к небу. Ждали тайной вести-знака. Вдруг вздохнули легко. Высоко в небе, над вершинами появились-воспарили три черных орла с серебристыми перьями под широкими крыльями, будто говоря безголосо: «Можете начинать. Аруахи дали добро...»

Вождя возложили на погребальное ложе. Колесница медленно вкатилась на дно могильной ямы. Юноши-агнцы-стражи молча вонзили кинжалы-акинаки в свои чистые сердца и пали. Их молча отнесли и посадили в три угла ямы. Четвертый угол – восточный, покрытый травой-хаомой, был предназначен для

Вождя, который через сорок дней и лун сам воссядет туда, чтобы отправиться к предкам-аруахам своим для долгих бесед о дорогах и судьбах народа-всадника. Мужички – вершители обряда взрезали горло жертвенным коням, и они, хрипя и двигая ногами в последней скачке своей, скоро затихли в сакральной упряжи. Вскоре засыпали пологий сход в могилу-святилище, положили сверху еще пять рядов бревен, а затем обрушили сверху склон святой горы так, что смесь земли-глины-камней и снега покрыла погребение Вождя-воителя-святого. Стояла такая тишина-синева, что казалось – умерло само Время. Только орлы – посланцы небес витали высоко над вершинами, будто сотворяя невесомую печаль.

Шествие спустилось вниз, к белому аулу горестных юрт, чтобы начать великую Тризну о Вожде-Аруахе и возносить крики бражные и моления древние о даровании вольному народу степей доброй дороги в грядущее, куда их поведет сам Аруах-Вождь, великий, бессмертный отец всадников и пастухов вольной и просторной, как Небо, Степи.

\* \* \*

У дороги лежит валун. Серый, большой, обветренный. Каменный айсберг на обочине. Под ним земля немереной глубины. Глубже океана. Сколько лет-веков лежит у дороги огромный валун – неизвестно, но для путника имеет значение только то, что он указатель-веха. Айсберг, оторвавшись от ледника, плывет в даль-безмерность океана. Он – путешественник, вышедший в путь к неизведанному. Сколько открытий ждет его, пока он не истает?.. Скалы-утесы Тамгалы оправданы тем, что на них начертаны руны-петроглифы. И человеки-звери в пространстве события-охоты. Так сохранилось давнее время в первозданной тайне своей. В сакральности и сокровенности бытия.

Валун терпелив... Айсберг-романтик... Петроглифы Тамгалы – смыслопорождающие... Хорошо, что ни на что нет окончательного ответа... Тамга истины вредит самой истине...

Еще немного о валуне... Некогда он был сорван с горы и снесен потоком селя в долину, пронесся по грохочущему руслу ущелья, став причиной гибели живности и трав-цветов, росших по склонам. Но в тот майский день, когда содрогнулись горы и ледник исторгся селем, смертоносный валун все же остановился, увидев юную деву на зеленой лужайке. И встал намертво, окаменев от красоты той девы. И разве скажешь после такого, что у камня нет души. Жизнь сильна, как поток, и ей покорен даже валун-гигант. У ног девы.

\* \* \*

Сегодня кажется странной любовью человека всех времен и континентов к камню. Хотя пишущий это не любит камни с детства, когда он больно прищемил палец валуном из горной речки Иссык (близ Алма-Аты), пытаясь построить запруду для купанья и ловли форели. Их можно было поймать на удочку только таким диким, древним способом.

Может быть, эта любовь началась еще с каменного века истории людей, делавших из гальки орудия охоты и повседневного быта. Колотить и обтесывать камень – дело нелегкое, и требует упорства и навыков думать вперед, пока форма изделия еще только вырисовывается. Прачеловек обладал уже тогда способностью увидеть в камне образ полезной вещи, которая поможет ему добыть пищу, убив

быстроногую дичь. Случайно ударив кремнем о камень, наш пращур догадался, что из такой искры он может в любое удобное для себя время зажечь огонь. Стало быть, мысль-вдохновение всегда идет впереди всякого открытия. Возможно, и каменную пещеру предок воспринимал, как некий сакральный знак того, что камень допустил его в свое нутро и оградил от стихии и хищников. Наверное, он так же сознавал, что получил свое первое личное пространство в бесстенном и безбрежном мире первозданной природы, а потому и стал украшать каменные стены пещеры наскальной живописью. А в казахском урочище Тамгалы более 30 тысяч лет назад он впервые вынес рисунки-петроглифы наружу, как бы возвещая природе о силе своего воображения.

\* \* \*

*Оглушительной бывает молчаливая весть от сердца. Ведь именно оно в виде крови гоняет мечты и воспоминания по всему телу и не дает им забыться. Та же кровь, приливая к глазам, выносит воспоминания из темницы тела в мир света и теней, давая им возможность влиться в океан жизни и пребывать там наравне с историями разных людей и народов, населяющих мир земной. За одно только это надо благодарить и свои мечты, и тем смягчить печаль свою беззаветную. И пусть утекает она из глаз наших-моих во вне и становится частью всеобщей печали, родня и сближая людей. Давно известно, что без ноты печали нет и песен радости. Спасибо, печаль...*

*Эх, дни мои былые-ликующие и други-братья-сестры мои еще живые-пирующие... ах, травы-цветы мои растущие-цветущие... никогда не отойти-уйти вам, не отцвести – не увясть – не забыться, а быть-расти, как и ты, печаль моя светлая-добрая... ибо лишь тому бывшему-ушедшему и тебе, царица-печаль, не сойти с трона твоего синего, а стать вечной-бессмертной и летать над землей белокрыло-безобидно и бесконечно.*

*Как-то подумалось: отчего нам не летается, как в мечтах... в детстве то есть. Однако это печаль, но есть у неё и беспечальная подруга... она зовется по-простому Карлыгаш... по-русски это звучит даже обидно... типа – карлик... а вот по-казахски поется «Ласточка»... та самая, что хлопочет в гнезде, кормит своих пташек-малышек и до времени запрещает им даже чирикать в ее отсутствие... мало ли хищных птиц!.. ласточкино гнездо, оно особое – из глины, стебельков, хвороста и её любви... зато крепенькое, хоть и малое... и птенчикам хорошо, и ласточке.*

\* \* \*

Перегон овец и лошадей с пастбищ на станцию – дело не только хлопотное, но и муторное. Особо, если случайно поймашь взгляд ягненка-токты или жеребца-тая, будто спрашивающих на животном своем языке: куда, мол, ведут нас, зачем? Мы же еще зеленой травы недоели, не побегали вволю по лугам. И откуда только чувствуют-знают они, что в недобрый путь вышли, и оттого катышки-навоз пускают чаще и мочатся невпопад, на ходу. А до станции Экибастуз, что дословно переводится как «две головы соли», километров сто с лишком будет, три дня с двумя ночевками от позднего заката до ранней зари цвета свежеснятой шкуры. Название это пошло еще с прошлого века, когда царь-батюшка-патша прислал, по преданиям, на открытие первой ярмарки вдоль большой дороги на Сибирь-матушку две

огромных глыбы соли, которым казахи и дали свое имя – Экибастуз. Так назвался и городок ярмарочный, и станция будущая, словно получили некое благословение, коли впоследствии здесь образовался крупный железнодорожный узел в сердце трансзиатского маршрута, а шире – и континента. Это, как говорится, из истории-географии, а дальше речь о делах великих и судьбах людских попроще.

Так вот об этом теперь речь. Отец новорожденного под деревом Мальчика тоже был иртышского рода-племени «козган», а по жизни являлся на тот момент снабженцем-заготовителем. Это давало ему особое положение, как человеку, приближенному к материальным благам-ценностям, что в послевоенное время дорогого стоило и давало известные привилегии. Надо сказать, что снабженцем он был и в войну, куда попал осенью 1942 года. Шла оборона Сталинграда, где и решалась судьба войны – кто кого? Порой на каких-то ста метрах смертоносной линии фронта. Задачей Отца с совершенно неподобающим для военного времени именем Тыныштык, что по-русски означает «мир, покой, тишина», была доставка с восточного берега Волги провизии и различного снаряжения защитникам воюющего города имени Сталина.

Делать это приходилось ночами, когда затихал артобстрел и не летала фашистская авиация. На большой плот с движком загружали бидоны с горячей едой и чаем, ящики с сухим доппайком и, конечно, водкой (из расчета 250 грамм на бойца), оружие: пулеметы, винтовки, гранаты – и почту. Полагалось два помощника, а порой сажали целый взвод подкрепления и... вперед... в ночь... по воде – по волнам... вспышки ракет... разрывы бомб (стреляли вслепую, но порой и снаряды бывают «зрячими»). Отец Тыныштык был везуч, продовольствие и прочий груз доставлялись вовремя, однако на фронтовой полоске обороны вести и дела всегда были тревожны и трагичны. Ночь на воюющем берегу никогда не обходилась без похорон и поминок бойцов-защитников, с которыми «мирный казах» Тыныштык виделся еще вчера или переправлял неделю назад. Вот тогда-то, в те дни он и опробовал водки горькой-полынной-поминальной и вместе с живыми еще и ранеными опрокидывал рюмку-другую с тяжелыми вздохами и молчаньем с потаёнными слезами. Потом с тамыром-старшиной Яшей, который здесь находился еще с ранней осени и будто заколдован был от пуль (не считая легкой контузии), сажали раненых на плот, грузили пустые бидоны, и наступал час отплытия от берега огня, смерти, подвигов. Одно было досадно, что убитых хоронили там же по распоряжению «сверху», и казалось, будто мертвые остаются на своих постах и продолжают бить врага...

Через неделю, накануне окружения армии Паулюса, Тыныштык волей судьбы принял участие в одном из последних боев на развалинах Сталинграда. Ему поручили подавать пулеметную ленту тамыру Яше, который был убит в тот день, а Тыныштык получил ранение и свою единственную боевую медаль. Но еще выше этой награды стал месячный отпуск в тыл, отдых среди близких, в семье. Тогда-то и была зачата его дочь Рымкеш Добрая.

*...белый плот... плаванье в прошлое... пение воды в паузах между взрывами... гордый город, обороняющий реку жизни... мысли, плывущие у донных вод памяти... белый снег траура, ставший травой по весне... птица, вьющая гнездо в душе человеческой... разве такое можно убить?.. любая война бессильна, если плывет белый плот...*

У всего своя судьба, как говорится... Тагдыр... Когда Тыныштык закончил самую несложную часть своей работы, пригнав на станцию Экибастуз тысячи голов скота, часть которых сразу была отправлена вагонами по адресам-городам заказчиков, осталось сделать то, что он так не любил, отчего сердце болело-ныло. Здесь же, близ станции, находилась скотобойня, где надо было резать скот, загружать туши в вагоны-морозильники и отправлять дальним получателям. Длинное здание скотобойни. Издали смердело запахом крови, мочи и испражнений обреченных животных. Если резать одну овцу – дело у казахов привычно-житейское, то вот это поточное кровопускание было чем-то запредельным, некой жутковатой фантазмагорией за рамками здравого сознания. Между тем скотобойцы обыденно-быстро валили баранов, одним взмахом ножа вскрывали горло и пускали кровь по бетонному стоку, еще четыре движения лезвия – нет голяшек с копытцами, длинный прорез от горла к паху, теперь подвесить тушу на крюк и почти вмиг снять шкуру. Затем передавали тушу разделщикам, и те вмиг выпускали внутренности, падавшие в тазы, которые в свой черед переходили в руки женщин по другую сторону помещения. Еще немного кошмара, и вот уже туши на крюках медленно плывут к другому концу конвейера, где их передают в вагоны-морозильники, стоящие у широких проемов скотобойни. Смотреть в сторону второго здания, где предсмертно ржали кони-кобылицы-жеребцы, Тыныштык просто не мог. Бараны хотя бы молчали, как им было, видимо, предписано свыше, но...

В этот момент Тыныштыку передали бумажку. Он вскрикнул, обнял посланца, сунув ему купюру за добрую весть, и с возгласом: «У меня сын родился!» – рванул от скотобойни к своему мотоциклу с коляской.

Заскочить к заведующему номенклатурной «точки» в Экибастузе, захватить барахлишко-тряпки для роженицы, ткань пеленочную для младенца... подарки родне, соседям, врачу и... вот летит трескучий мотоциклишко по разбитой дороге длинной в нетерпение-порыв-восторг и... он уже у неказистого (из глины и соломы) домика... деревянная иссохшая дверь чуть не вылетает из петель... короткое объятие взглядами с лежащей на железной кровати роженицей и... вот он!.. сопящий первенец в казахских яслях... его сын!.. далее все шло по законам радости-обморока, несвязных восклицаний, скупых слез, летающего меж ребрами сердца... и... ах, как прекрасна милостивая жизнь, как улыбка матери и полусонный взгляд младенца-сына-первенца!!!

Мать подняла глаза на счастливо-сумасбродного отца и сына и... где-то в середине черепа, а затем, как ток крови к сердцу, и родилось еще одно чудо!.. ее неразделимая любовь к этим двум существам в краткий миг их сокровенной близости друг к другу... запахи-ароматы-бальзам отцово-сыновней любви!.. как не запеть тут тугую песнь торжества и ощутить дрожанье домбры-кифары, звук которой в мгновение взмаха ресниц долетает до дальней звезды в бескрайних пастбищах неба-космоса-вечности!!! А?! И когда же ей приснился тот ажурно-невесомый град счастья, где-то за горами-степями, с именованным наследным дворцом из розового камня и уютным садом во внутреннем дворе... но дунул ветер-вепрь, крикнула песнь-скорбь неведомая птица с черными крылами... через год Отец Тыныштык в трехколесном немецком-трофейном мотоцикле с коляской попал под колеса грузовика, единственного на той дороге из Экибастуза в Павлодар, и погиб... рана-гангрена-судьба... Тагдыр!!! Так и стали Мать с сыном шелестеть на ветру, вспоминая те годы...

От Отца Сыну достался трофейный пистолет, кожаное немецкое офицерское пальто и плоский портсигар... вскоре Дед тихо положил это в полотняный мешок, добавил до веса бульжник, завязал накрепко баул и бросил по осени в воды Иртыша... к чему Сыну такое наследие, если он сам теперь и на всю жизнь наследник печалей, начала которых находятся много дальше истоков реки, что за хребтами Алтая именуется, говорят, Черным Иртышом... а годом позже Дед устроил поминальную байгу-скачку и кокпар-козлодранье в честь-память о своем сыне Тыныштыке, который так бурно жил, вопреки своему тишайшему имени... Да! Тагдыр!

*...интересно, может ли дождь обратно подняться к туче?.. есть ли молоко, которое не киснет? где бродят мысли, когда человек уже мертв?.. есть ли гавань для всех утопших кораблей и кабак на берегу, где могли бы устроить поминки самим себе моряки, отплававшие свои дни?.. могут ли где встретиться покойный отец и его еще живущий сын?.. неужели в снах, ведь они нереальны и должны умирать вместе с людьми?.. вот и веруешь в Вечную Маму, знающую тайну бессмертья... да... тайна...*

...И все еще эхом слышится ночами-рассветами голос Мамы: «Сынок, сходи к могилке Отца. Она там, в экибастузских степях, у тех пастбищ, куда ездил он заготовителем. Сама я там не была, боялась чего-то, да и ты был совсем мал и по детству болел, едва к двум годам ходить стал. А потом окреп быстро и многих сверстников обогнал. Спасибо деду Кази. Знал он какую-то траву и ворожбу древнюю. А к могилке сходи. Думаю, узнаешь сразу, так она одинока среди других. Должны ваши дороги сойтись. А на земле, в небе ли, то мне неизвестно, сынок...»

\* \* \*

*Дело вновь идет к полуночи, а это твой звездный час, печаль моя, хотя ты не отпускаешь нас ни на миг, от утра до утра...*

*Только благодаря тебе смиряешься с одиночеством и спокойно увядаешь, как древо и трава по осени. Снег седины уже упал на голову старого мужчины и тем отметил рубикон меж суетой и ожиданием окончания дней его. Однако, сестра-печаль, надо признаться к счастью, что к полуночи приходит и время воспоминаний. Каждое из них проступает, как звезда в небе, встречаясь с сестрами своими по Млечному Пути в иных Вселенных... Так вспомнилась Мама, еще молодая и озорная, но уже дважды вдова. Видно, родилась не во время свое, а в чужое и страшное, где были голод, война, нищета. Правда, Мама была от природы так плодородна, что ей было суждено родить еще восемь детей. Думаю, что это шло от ее большого сердца, где любви было столько, что ее хватало на всех. В тот давний день, кажется, 1950 года, мы стояли на берегу Иртыша, и она была сродни тебе, печаль. Ведь так далеко смотреть вдаль и внутрь себя, прощаясь с былым и предчувствуя грядущее, могли только вы двое – Мама Вечная и печаль...*

*Порой приходит мысль, что печаль не только сестра-утешительница, нам – простодушным казахам – она является близкой родней. Даже окидывая историю последних ста лет казахского народа с голодом-мором, гонениями, войной*



*и прочими бедами, поневоле вспомнишь Маркеса и его великий роман «Сто лет одиночества». Разве это не о нас с вами?..*

*Разве казахи не пережили царские гонения, революцию, затем голод, репрессии советской власти, и не было у нас полковников-диктаторов, якобы спасающих народ?*

\* \* \*

Белые змейки облаков тихо ползли от гор к равнинному полю, будто там находились их норы. Тонко-лепестковый мак рассвета рос-возрастал, и, казалось, дунь невидимый ветерок – и осыплется на стлань желтых трав у подножия покойных гор. Строгий страж небесных лугов, пестрокрылый беркут витал по-над горами, вернее, плыл в струях высокой реки с иссиня-голубой водой. Златовласая дева-баксы лежала навзничь у подножия Алтая и пыталась понять речь-знаки облаков в час рассветной тишины. Хотела она также поймать взгляд беркута – может, он даст подсказку-намёк на то, как следует поступить. Дева златовласая отключила на время ум и мысли тоже, дабы обрести такую пустоту внутри, в которой только и могут явиться знаки промысла-судьбы, весть безгласная о том, как ей поступить теперь, когда закончилась годовая тризна по великому Вождю-воителю-аруаху, а дух его, верно, уже окончательно соединился со священным Синим Началом бессмертия. И хотя златовласая Дева впала в бездумие и нечувствие, но все же самые потаенные мысли текли муравьиной стружкой-цепочкой из дома-муравейника-разума в поле ее тела, в поток тюльпанно-алой крови. И тут всплыло... однажды в начале весны увидела она Воителя-Вождя на пестром коне Шубарлы во время камланий-заговоров и травообилия. Дева вспыхнула всей своей кровью девьей и... но она была потомственной Девой-баксы и не имела права на женскую судьбу-любовь, по родовой мете колдуньи – пяти родинках-звездочках меж грудями, на сплетении солнечном, над сердцем. Оттого и была определена старцами мудрыми в ранг сестрицы-жрицы, а стало быть, вечной девы-баксы-колдуньи, чтобы служить роду своему оберегом.

И Вождь бросил на неё ястребиный взгляд самца-хищника, вздыбил было коня Шубарлы-пестрошкурого, но, увидев меты-одежды ее жреческие, развернул скакуна к горам и погнал его бешено. Сердце Девы златовласой тоже скакнуло было следом вскачь, но из клетки грудной-реберной не выскочишь. Пять родинок-заклятий вспыхнули ярко и обожгли грудь тугожаркую, печать-печаль ее несмываемая. Вождь собрал Совет мудрых и прямо спросил – может ли Он взять ее в жены-наложницы свои по настоянию сердца. Но мудрые ответили тихо, что не ими то придумано и управляемо, а есть правило неотменное, и быть той Деве-девственнице охраной-защитой небесной от бед земных, не то горы содрогнутся и обвалят камни на равнину трав или сами уйдут под землю-мглу и иссушат степь до былинки-тростинки, и род их кочевой-вольный прервется-рассеется, как пух одуванчика по ветру – попусту. И ударился Вождь, еще рьяный-пьяный плотью-страстью муж, в деяния воинские. Всех врагов-недрузгов вокруг и вдали сокрушил, раздвинул кочевья-пастбища-просторы свои, чтоб не погибнуть от жала-жалости любовной-самцовой и забыть Деву необъятную-необъемлемую, как небо само и степь. А Дева-баксы стала все чаще бездумно-бездонно впадать в транс заклинаний-провидений, чтоб забыть в себе женское-жестокое-нежное и служить народу своему словом-мольбой-

охранением от бед. И плодился-множился род ее пастуший-воинский-конный, и горы росли к небу, а травы глубоко в землю в тайном родстве с корнями деревьев высоких. Но не изгнать было хворь любовную, и каждую ночь предстал перед сердцем её Вождь тысячью звезд. И вечно-белой молочной рекой разливалась в чреслах ее страсть-вожделение-истомы. И вот в день горький-зракодробящий слезами, когда Вождь – Всесильный Всадник сошел с Коня-жизни вседневной и вошел в пространство вечное Небо-Аспан-Ата, пришла к Деве-девственнице весть, что родилась еще одна девочка с пятью звездами-родинками в середине груди, над солнцесплетеньем-вдохом, как и она в свое время. Ровно через год после этой вести вещей-благой, когда в девочке-избраннице прорезалась речь и смех осмысленный, испросила Дева-Вещунья согласия у старцев и вождей наследных уйти из жизни добровольно, назвавшись вечной невестой-спутницей Великого Вождя-Аруаха в его хождениях небесных-высоких. Разрешение было дано. Дева-девственница передала Деве-младенцу права свои и знаки наследные и стала готовиться в путь свой белый. И хотя говорили ей старцы, что можно ей теперь стать женщиной обыкновенной, найти мужа по себе и родить детей сладких-игривых, Дева Дивная решила идти путем своим, сердцем избранным. Вышла она на восходе к горам, к роднику под той горой, на верху которой покоился Вождь-Аруах, ныне Водитель Небесный, омылась в чистой воде, надела одежды свои обрядовые-лучшие из нитей льняных-серебряных-полынных, оплела косы травами-цветами-жемчугами, покрыла голову короной золотой-тонкой, а на грудь возложила пектораль-солнце и возлегла в домовину из дровяного кедрового-просмоленного. Как и было обусловлено со старцами седыми, Дева-невеста одним усилием мысли остановила сердце свое, бросив последний-любящий взгляд к погребению Вождя, ныне мужа своего небесного, и душу свою отправила к горе, к нагорной своей мечте. Склонились старцы через час после невиданного доселе добровольного исхода человека-девы из жизни, посыпали тело пылью степной-полынной, закрыли сакральный дом-ладью в вечности и положили Деву-девственницу-невесту Вождя-Аруаха в яму могильную-священную, лицом к горе, где Вождь-муж погребенной возлежал...

*...тихо травы шелестели-пели... беркут – переносчик душ летал-вита в голубом мареве-море... ветер понес в просторы степные весть благоую-небывалую об исходе Девы несметной-бессмертной к избраннику своему заветному... такой была я сама в одном из своих ранних воплощений...*

*Так шептала Мама своему сыну-первенцу под древним Древом через год после его рождения и смерти отца-миротворца.*

## ГЛАВА 2

Иногда матушке Шокен казалось, что жизнь остановилась, завязла, будто пчела в густой сметане, если бы не соседка Бодене-перепелочка. Та, как встанет поутру, сразу к очагу. Разожжет огонь, стряпню затеет, по ходу дела корма курам да уткам задаст и опять за стряпню. Потом в дом еду и самовар унесет и какое-то время вроде бы спокойно становится на дворе, но вскоре выскочит Бодене опять во двор и за стирку примется, а как развесит белье, так и в доме, и по двору уборку затеет. И все что-то квохчет-пришепечивает, словно заговаривает вещи-предметы,

которые на тот момент под рукой оказываются, и оттого, видно, у нее все так ловко получается. А дальше опять стряпня, а вслед штопка-починка одежки детской да мужской. Нет ей угомона, прямо веретено неостановимое вертится, и дело семейных забот никогда не останавливается. Такая вот она, Бодене-вертушка-пеструшка, хоть обними-зацелуй ее. Редко когда ввечеру загрустит она отчего-то, сядет за рукоделье и тихо запоет о чем-то своем, тайном. И тогда у порога появится муж ее Асыл и так удивленно уставится на нее, будто она не жена ему привычная а что-то особое, ненароком попавшее в его неуклюжие руки. Смотрит-смотрит и неслышно опять в дом удалится, тоже свое затаенное в себе унося для раздумья-оценки. А Бодене глянет быстро вслед и так мило-скрытно улыбнется, все это время чувствуя-зная, что муж смотрел на нее. И тогда легко вскинется, и пойдет в дом на всю ночь, чтобы любовью да лаской день хлопот завершить.

Все бы так, да отчего-то на доброе-беззащитное злая судьба охотлива. Случилось это в день, когда по радио объявили о кончине вождя-Сталина. Со всех сторон в селении заголосили и стали собираться в большом дворе перед школой-интернатом, где стоял гипсовый памятник вождю в шинели и фуражке. И семья Бодене-пеструшки-беспокойницы впопыхах пошла на сборище. Только было митинг начался, как потянуло дымом, и кто-то из припозднившихся окликнул Асыла: «Эй, ротозей, а у тебя дом загорелся. Беги...».

Асыл рванулся к себе (благо недалеко было) и увидел, что домик их уже хорошо взялся огнем. Верно, в спешке забыла Бодене очаг потушить, а ветер мартовский с гор, что понизу по обыкновению вет-течет, все больше порывами-рывками, угольки рассыпал-раздул в пожар. Ничего больше не оставалось, как пожитки скромные спасать из огня. Вслед и Бодене-хлопотушка прибежала и тоже в пламя-пожар кинулась. Муж молча схватил ее и привязал к ближайшему дереву. Тут и селяне стали сбегаться с митинга и увидели картину, что хошь плачь, хошь смейся. Бодене рвется из уз и при этом указывает мужу, что тащить в первую очередь и где что лежит, на черный день припрятанное. Вскоре и соседи кинулись тушить-помогать-тащить. Да куда там... Ветер осмелел будто, завидя огонь-игру, и враз свежо-крепко подул. И часа не прошло, как все кончилось. Дом уже догорал, а по двору пожитки лежат вразброс. Тут только Асыл развязал свою женку-хлопотушку, сел и закурил с мужиками. Митинг скорбный по Сталину сорвался, а начальство, завидев подлинную беду, тихо удалилось воясь к делам кабинетным.

Когда к полудню дом догорел, а Бодене-женушка слезы свои выплакала, поднялся Асыл еще более могучий и высокий, свирепо-молча оглядел пожарище и принялся разгребать, что осталось и тлело еще. И соседи без слов принялись пособлять-помогать, пока соседуски-приятельницы перетаскивали пожитки в сарай уцелевший. Кто детей Бодене-перепелки (двух мальчиков и девочку пяти лет) по своим домам увел, кто по мелочи суетился, разбирая вещи и наново пристраивая их в сарае. К сумеркам пожарище-пепелище разгребли, и Асыл с Бодене сели чай пить да думать, как быть дальше. Все селенье утихло, а горе и слезы несчастных погорельцев медленно поглощала весенняя ночь, делая свою работу утешения, и была она на редкость теплой и тихой.

На заре уже с упорством отчаяния принялся Асыл рыть новый фундамент, много шире прежнего. Надо сказать, что руки у Асыла были большими и сильными, и все в них ладилось как бы само по себе. Недаром он заведовал

плотницкой мастерской в школе-интернате, где воспитанники учились умению пилить-строгать-собирать. А Сапар – старший сын матушки Шокен – организовал комсомольский отряд и включился в помощь Асылу. Да и селяне – добрейшие люди – не остались в стороне. Кто бревна подвозил, кто глину месил ногами, кто саманные кирпичи готовил. Весна набирала силу, погожая и добрая в тот год, а вместе набирала свой ход и стройка. Вообще, это была первая послевоенная стройка-хашар в Иссыке, народная-добровольная, и оттого была дружной и скорой, как дела самой весны и природы матушки. Правда, кто-то из начальства местного назвал ее «сталинской стройкой на селе», но доброй сути «хашара» это не меняло и даже придавало всему некую идейную окраску, без которой в то время даже куры не сносили яиц. Бодене-пеструшка в первые дни после беды притихла и причитала, но, видя, как могучий муж ворочает бревна в ладу и с помощью соседей, она вскорости стала прежней неугомонной хлопотушкой, легко и, казалось, беззаботно успевая делать все, что требовало ее рук и женского внимания. Навес у сарая стал чем-то вроде столовой, ведь приходилось теперь кормить не только семью. На длинных веревках сушились рубашки строителей-сотоварищей, чтобы назавтра можно было надеть чистую одежду. А сколько вещей после пожара требовало починки и очистки. Летом даже песни стала вновь петь пеструшка Бодене, улыбаясь щедрее солнца. А селенья Иссык все так же просыпалось-работало-отдыхало-отсыпалось ежедневно и неостановимо и, словно человек большой и добрый, радовалось всеобщему согласию. К осени дом новый был готов. Красавчик. Просторный и светлый. И пир устроили совместно, как и дом строили. Асыл исхудавший, но все такой же крепкий, исподтишка вроде бы наблюдал за своей Бодене-пеструшкой-перепелочкой. Только они двое знали, что по следующей весне в этом красивом доме появится новый жилец, а девочка или мальчик, то это как бог даст. А пока спасибо сельчанам по край жизни и сердца.

Кстати, той же осенью их старший сын пошел в первый класс начальной русской школы, которую тоже построили «хашаром» за одно лето на берегу Иссычки весной 1953 года.

\* \* \*

*История казахской печали началась давно. И природа этой печали лежит вне самих казахов. Ее занесло откуда-то шалым ветром, что вполне естественно для степей, а при открытых пространствах она – эта желтая (по цвету своему желчному-горькому) печаль разошлась далеко. Однако она не была и густой, опять же из-за ландшафта, не ртутно-тяжелой и не годилась на градусники, отчего и температуру больных этой печалью измерить было нельзя. Болезнь не имела явных симптомов, многие были даже внешне веселы и по-прежнему приветливы, особо при гостях. Кстати, во время эпидемии печали гостей наезжало на редкость много, хлопот и зарезанных баранов было немерено. Вот только поутру, при виде высыхающих шкур и собак, доедающих обрезки, эта печаль так хватала хозяев за душу, что они уходили в степь и тихо там подвывали, стесняясь, чтобы гостей не разбудить и не вызвать пересудов у соседей по узункулаку, устному передатчику вестей. Никто из печальников не глядел в глаза во время приступов, а смотрел скромно и в сторону. Таков наш народ деликатный, от природы, наверное.*

\* \* \*

...Приближение каждого полнолуния начиналось с тайного беспокойства. Ясные-понятные мысли начинали путаться и уходили куда-то вглубь тела, а их место занимали другие, из прежнего полнолуния, и вскоре превращались в тугой ком, и голова становилась плотной и тяжелой. Зато начинала проступать душа, особо та древняя, которая перешла к Шокен от ее давней наперсницы – дикой волчицы, что жила много лет назад и туманов в прошлом и еще продолжала поднимать голову в полнолуние и протяжно выть в ней, в женщине, вполне земной и обыкновенной. Заботы домашние начинали тяготить ее, и хотелось свободы от повседневности, в которой почти забывалась-угасала ее древняя первичная душа-сущность вольной волчицы.

И тогда-то ей встретился июньской лунной ночью тот самый конюх Сагат, который отчего-то тоже бродил под тихими звездами. Молча присели под развесистый дуб, стали глядеть вдаль и вверх, и как-то само собой все случилось по-природному-первородному, а дуб шелестел листвой на легком ветру, заглушая их стоны. Ни слов, ни заветов не было сказано (Сагат имел семью и детей своих), но и в молчании бывает много смысла. Ведь и у Шокен росли малые дети уже от трех покойных мужей – три сына-постреленка сиротливых, но бойких по крови. Шли первые мирные послевоенные годы, и всем надобно было как-то стряхнуть пепел-пыль горя и утрат и ладить жизнь и быт свой по календарю обыкновения, а не потрясений-бед. А дуб все рос, и смотрел на заботы людские, и хранил тайну одной краткой человеческой любви.

\* \* \*

*Многое открывается как бы внезапно. Без повода. К примеру... Вот вещь... Тот, кто говорит о ней, – вецун... Ведающий вещь... Кто против вещи, того именуют – коцун. Коцунственно отрицающий суть вещи... Коцунствующий недолог... Он умирает раньше вещи и вести... Древние индусы создали веды... Оттого им дано веданье... Они долговечны... Ибо они вещают нам о смыслах... Жаль, что творец вещи – человек поневоле породил и «вещизм», то есть порок приобретать барахло, а потом превращать вещи в товар... Так появляется потребление... Оно же хищничество... Итог плачевен: был человек, а стал хищником. Вот отчего надо бояться коцунов, которых иначе именуют Кощей бессмертный. А по-человечески: бессмертными должны быть только вещи вечного и их творец – вецун.*

*И об этом порой думается ночами, Матушка-память.*

\* \* \*

...Идешь, бывало, повдоль вагонов товарного состава, скажем, на вокзале Алма-Ата-1, где в молодости приходилось картошку сибирскую-сахарную мешками сгружать вместе с парнями-сверстниками. Эту картошку вагонами везли узбеки в полосатых халатах. У них была такая торговая хватка-жилка, что только диву даешься. Эти выходцы, в основном, из Самарканда нанимали нас на разгрузку. Скинешь, бывало, вагон мешков на тележки, которые укатывала к грузовикам другая бригада. Натрудишь ноги-руки-спину, получишь четвертак полновесных советских рублей и айда-гони к девчонкам-чувихам. Половину приработка на кайф-секс с девчонками, другую на жизнь-жесть. Вот и вся наша философия

дней «эпохи Брежнева». Зато тихо-солидно, и на карман есть. Зарплаты в театре были так мизерны, как в преферансе прикуп. Где-то там «вверху» партсъезды, исторические решения-доклады, а у нас своя совково-свободная жизнь на кухнях, в забегаловках, где пили ровно столько же, как сам «Ильич» и его «партсобраты» после важных решений-постановлений, за текстом которых стоял очень хитрый «армянин Микоян». У простых людей жизнь-дрянь, а у «верхних» коньяк-пьянь с очень хорошей закуской. Но мы и селедке нашей радовались и ратовали за красоту русского балета, который был, как известно, лучшим в мире...

Так вспоминал-размышлял бывший «балетный Гаврош – без галош», сидя в пивной на речке «Поганке». Пенсия в 120 рублей и подработок на разгрузке картошки-капусты на жизнь с элементом внутренней свободы, несмотря на внешние приметы советской тюрьмы без решеток. Гаврош был племянником интеллигентного партийца с гуманитарным образованием, который смог устроить своей сокровенке-любовнице, матери Гавроша, однокомнатную квартиру недалеко от цирка и слыл бабником местного значения ростом за метр восемьдесят с копейками. Вскоре после отца-партийца и матери, он занялся фарцовкой, пару раз в месяц ездил в Москву, где покупал у столичных коллег джинсуху, перепродавал в Алма-Ате, имел за 100% навару, и сам, конечно одевался по «фирме». Но вот с любовницей-подружкой ему не повезло. Будучи умом значительно уже собственного таза, привыкшая к халяве, она однажды решила расширить круг клиентов за счет детей из артистического мира и средне-партийного звена. Один из таких партийцев сделал ей недвусмысленно предложение сексуального характера. Она отказала ему (любила все-таки своего Гавроша), и тот решил наказать ее. Партиец вызвал наряд милиции и указал им «фарцовую точку». Гавроша с любовницей повязали с товаром и вскоре осудили по известной статье – спекуляция «фирмой». Так Гаврош крепко погорел, а после отбытия годового срока элементарно спился с подружкой, затем лишился «хаты» и стал бомжевать. Вскоре он совсем опустился и, говорят, помер, замерзнув в каком-то подвале. Так же безвестно канула в небытие и его подружка, наверное, не раз проклиная свою инициативность. В 80-е годы таких мини-трагедий было немало, не пришли еще «горбачевские времена», но Гаврош не дожил до тех благословенных для фарцовщиков времен. Да, такова, как говорится, «не фартуха». Кстати, район, где жил Гаврош, в народе прозывался «тещин язык». Вот и не верь после этого в приметы, если Гаврош-Гамлет погорел на своей «Офелии» из-за «тещиного языка» бдительных партократов того времени.

*...где-то текли-перетекали воды небесные-чистые... по Млечному Пути шла, горя, мать Гавроша... она взывала к кому-то высокому, прося простить ее непутевого сына и вознести его душу, чтобы могли мать и сын поговорить в этой звездной тишине... разве есть их вина в том, что не сложилась жизнь земная?.. Для матери сын всегда был неким ангелом танцующим... ей казалось, что Гаврош был оправданием ее жизни в качестве бесправной любовницы-утехи содержателя-партократа, чтоб ему неладно было... так оно видно и есть, если она не встречала его на этом Млечном Пути... ей казалось, что в его танце участвовала и она... а почто ее Гаврош стал выпивать и ударился в торгаши, матери было не понять... может, она сделала что-то не так, но она видела его как в пелене, как видение какое чудесное... а теперь ей осталось только ждать*

*его среди звезд и тишины и молитв Некого Высокого, который только и может соединить их здесь... но как же та сказка обернулась бедой... неужто черный лебедь погубил принца?.. и Мать вся вновь превратилась в ожидание на этом пустынном Млечном Пути Мечты...*

Порой кажется, что люди наделены разными языками для того, чтобы на своей земле и в своих краях дать имена вещам и явлениям, которые знают с рождения. Ведь природа, звери, птицы, растения так многообразны и не могут быть названы на одном языке. И миф о Вавилонской башне имеет другой тайный смысл. Возможно, только так можно выразить все богатство земное, чтобы люди могли делиться своим знанием с другими народами, и открывать им сокровища своих родин, своих вер, заблуждений-поисков сакрального значения мириадов вещей и сущностей, и вести нескончаемый диалог о смысле мироздания, вплоть до каждой травинки-песчинки-капли росной-горной реки, о бескрайней планете, где всем отведен свой заветный, пусть порой и суровый-пустынный, на первый взгляд, простор. И впрямь невозможно все назвать и объять словами одного языка, одного времени или откровениями одного пророка. И хорошо, что нет в мире единомыслия, скучного единообразия, одной истории на все человечество с древнейших времен и на грядущее завтра. Таков, видимо, Млечный Путь истины.

\* \* \*

*Весна, день пасмурен, будто это осень. А с нею вспоминаются други мои, с кем проводил сезоны радости, деяний и бурных страстей.*

*И дни печали, конечно. Печаль надо делить поровну на всех, чтобы не становилась густой и роднила нас молчанием. Когда-то мы все любили танец всадников и служили ему, как если бы дали клятву на верность, но время танцеваний отошло быстро, едва мы достигли станции социализма. Но дни и годы танца были насыщены так, что впивались в кровь нашу и память, став второй сутью души, будто она обернулась луной, которой мы и теперь пишем письма в виде стихов, и, верно, ради них стал народ наш песенным, согласуя биение сердца с сердцами предков своих, пребывающих теперь среди звезд. Там и ты витаешь легко рядом с Мамой Вечной, печаль золотая – сестрица свода небесного.*

*Это было так давно, когда даже звезды были молоды, печаль-невеста казахская безутешная. Тогда народ был еще точно юноша-отрок и не постиг ещё жестокою и прекрасною науку – искусство вселенского братства. Как у скакуна-аргамака, кипела в нем кровь, наполовину полынная-горькая и не знающая жалости к травам слабым и робким. Её характер-норов отрицал покорность и благонравие. И ещё... аргмак влюбился тогда в кобылицу юную с гонором, косыми глазами и станом из белого снега. Верно, и ныне резвится их конное племя на травах звездных, а духи предков укрощают их и скачут без седел в тех дальних лугах. Так будем благодарны за это, печаль беззаветная, предкам.*

\* \* \*

Рамазану незадолго до его внезапной смерти в возрасте уже почти старого человека, семидесяти лет, с целым чемоданом хворей, вспоминалось давнее...

Отрок пятнадцати лет шел по апрельской Москве. Совсем недавно встречали из космоса Юрия Гагарина и всюду витал дух праздника, прорыва в новое про-

странство. К тому же наступила оттепель, и в сквере за Большим театром уже проступали знаки весны. Был этот Отрок родом из Казахстана. Еще до Москвы, в степной глубинке бабушка рассказывала ему в скучные зимние вечера, что деревья нельзя унижать. В степи они – как ханы среди трав, и очень горды. Потому на них нельзя лазать, а то ханский гнев поднимется ветром и унесет дерзкого хулигана далеко от дома. Но Отрок ослушался, ибо хотел увидеть, что таится за селеньем, и вот бабушкино остережение свершилось. Он оказался однажды в Москве в знаменитой Школе Танца. Именно там он заболел не известной в медицине лихорадкой, хотя формально был совершенно здоров, как камень, брошенный в особую грязь чистейшей субстанции красоты. Иногда в таких экстремальных условиях обычный камень обретает особую красоту и чистоту, переходя в разряд летающих камней. Но это к слову, а пока вернемся к Отроку. На тот момент и год он просто гулял по весенним улицам, и его привычно лихорадило. В те апрельские дни, наверное, и в самом деле прорвалась некая плотина и смешала обыкновения и чудеса в один бурный поток. К чудесам относились девушки нового типа «а ля Бабетта, Брижит Бардо» в коротких обтянутых юбках, самодельных сапогах-чулках и ярких полупальто в накидку. Они плыли, как цветы, в общей, пока еще преимущественно серой толпе, и это было непривычно радостно для глаз. Вот такие-то девочки-бабочки и делали погоду той весной, отчего у Отрока сильно щемило сердце и где-то ниже пупка. Сильно хотелось вырвать одну из них, как цветок из клумбы, засунуть за пазуху и вдыхать до одури неведомый еще ему аромат. От этих внезапных фантазий Отрок затрепал по своим кожным швам, а острая эрекция заставила его забежать в ближайшую подворотню, словно прохожие могли увидеть это через его штаны. Отдышавшись и пряча глаза, он дошел до угла улиц Пушечной и Неглинной, вошел в низкую арку с чугунными воротцами. Здесь, в тесном треугольном дворике, в сером шестиэтажном здании и находилась знаменитая балетная Школа, куда он попал по неосторожным предсказаниям своей бабушки из степного селения.

Наутро следующего неисторического дня Отрок пошел в балетный зал, где полтора часа делал неестественные для нормального степняка движения, которые почему-то именовались классическими «рас», затем отсидел два гуманитарных урока, после чего наступило радостное время обеда. Но это настроение быстро угасло, так как надо было еще полтора часа попотеть в классе характерного танца, где приходилось осваивать то венгерскую осанку, то испанскую манеру, а в конце пускаться в русскую пляску, от которой перехватывало дыхание. И лишь после всего этого наступало время принимать душ, чтобы смыть потные впечатления рядового учебного дня танца...

Душевые находились в полуподвале училища, куда с верхних этажей вела широкая парадная лестница с дубовыми перилами, а в самом низу шли обычные ступеньки. В большой общей душевой для мальчиков (без окон, с высокими потолками под четыре метра, на пять кабинок) всегда стоял чуть затхлый запах влаги и мыла вперемешку с хлоркой. Через стенку находилась точно такая же душевая для девочек-отроковиц. Оба душа соединяла одна чугунная отдушина, забранная решеткой на высоте более трех метров, накрепко вмурованная в стену. Вот об этой-то отдушине собственно и пойдет рассказ, ибо она обладала магической силой притяжения для моющихся отроков, так как через нее был слышен визг и смех юных купальщиц с той стороны.



Вообще, в этой душевой уже более ста лет мылись будущие балерины и танцовщики московской Школы, ведь учение танцу предполагает обильное потение, без него невозможно освоить науку красивых поз, движений, прыжков и вращений, составляющих искусство классического балета, проистекающего из этих самых технических элементов. Такое даже описать сложно. Стало быть, приходилось принимать ежедневное омовение, что было частью их редкой профессии, почти сакрального характера.

Адреналин после занятий у Отрока зашкаливал, и все его природное любопытство обрело цель – увидеть совсем голую девчонку. К балеринкам в трико он привык, как и все пацаны, а вот чтобы... Любопытство – странная штука. Если упрямцу запретят что-либо открывать, к примеру, шкаф или книгу, то он их непременно откроет, даже с риском наказания. А если за стеной слышен визг голенских девчонок, то остается только дерзать. Отроку сегодня повезло. Прямо до него в душевую пошли девчонки из старшего класса, а среди них Людэ!.. которая не уступала самой Бардо-Бабетте! Других пацанов еще не было, и Отрок мгновенно вскочил на скамейку, затем поставил ногу на кран, поднялся на край кабинки и дотянулся до решетки. Его трясло изнутри, но, переведя дух, он на руках выжался вверх так, что глаза оказались на уровне прутьев решетки. От того, что он увидел сверху в женской душевой, под животом сразу вспухло. Там «совершенно без ничего» стояла сама Людэ, бросив лукавый взгляд на отдушину, дескать – гляди какая я!.. И было на что смотреть... от глаз-шеи-грудей-ложбинки меж длинно-стройных ног, она была схожа со статуэткой, но живой!.. А когда повернулась двумя дыньками попочки, то он чуть было не сорвался. Бицепсы трещали от напряжения... и Отрок решил, что этого достаточно. Он видел Её голой! Обратный спуск занял несколько секунд, и только стоя под душем, он заново переживал увиденное... Ему не помешал даже гомон вошедших в душ пацанов...

По розовым персикам груди стекает вода... тело сверкает, как люстра... под шафранной чашей живота у пуховой полянки сходятся стрелки ног... (много позже они потрясут мир красотой совершенных движений)... Отрок попытался успокоить дрожащую от кровотоков восставшую плоть, но внезапно извергся белым восторгом, как неосторожный фавн, смотревший на купающуюся nereиду. Пустив тугую струю холодной воды, Отрок очнулся... Из душа он выходил полный смеси гордости и окаянного стыда, а когда вновь увидел Людэ, тоже шедшую из душа в халатике, то показалось, что она даже чуть подмигнула ему. Будто меж ними была уже некая запретная тайна. Даже спустя много лет Отрок помнил это краткое, как молния, мгновение, озарившее ему долгую дорогу к его первой женщине. И то давнее шествие юных наяд из купален Посейдона во главе с Людэ-Афиной, и блеск жемчужных капель воды в их волосах после омовения Отрок хранил в себе и в возрасте мужа, как волшебный балет целомудрия. Но в тот день при виде его покаянной растерянности девчонки прыснули от смеха и враз взлетели по ступенькам вверх, сверкая икрами. Они возвращались в мир строгой школы, где царил только танец. Даже с каждым следующим днем Отрок открывал для себя, что с глаголами настоящего жить труднее, чем с теми же определениями будущего и прошлого, но на языке с того дня всегда ощущался вкус шоколада. В том полуподвале памяти навсегда осталась мокрая Людэ, а давно перегоревшие лампочки теперь светились только для него. И через много лет он видел тот день, как в перевернутом бинокле...

Весна неудержимо набирала свою зеленую силу, и вот однажды случилась грандиозная гроза с градом, величиной с яблоко. Град побил половину окон здания Школы, и после этого началась стеклянная неделя весенних каникул. Она прошла в Серебряном бору на берегу Москва-реки, где застенчиво танцевали тонкие березы, покачивая в такт ветру легким зеленым опухалом листвы, и закончилась одним событием. Старшие юноши затеяли «бег на круг». Суть этого состязания заключалась в том, что девушки стартовали с четверти круга, а парни должны были бежать полную дистанцию с целью догнать девушек до черты финиша. Заводилами были, как всегда, Лавр и Влад, впоследствии великие премьеры Большого театра. Главным условием-призом являлся поцелуй девушки-беглянки, если бегун-преследователь догонит ее до финиша. Отроку это очень напомнило древнюю конную игру казахов «кыз-куу», что означает «догони-девушку». Страсти разгорались нешуточные. В одном из забегов участвовала неотразимая Людэ в короткой юбочке, а преследовал ее сам Лавр. Старт, ор-крик-визг, мелькают стройные ножки Людэ, мощно летит по кругу конь-Лавр, и вот... почти в падении, в шаге от отставшего преследователя кобылица Людэ пересекает черту и... попадает в объятия Отрока, которому и достается случайный поцелуй. Но какой! Свирепый Лавр бросился было к опешившему Отроку, но Людэ остановила его неповторимым жестом руки и... одарила его легким поцелуем. Ведь он почти догнал ее. У Отрока в глазах стояли слезы от восторга и унижения одновременно, но никто этого не заметил. О, почти околосмертное мгновение! Где ты?..

В тот год в столовых Москвы появился бесплатный хлеб из целинных степей Казахстана, и, казалось, этому надо было только радоваться, но один безвестный фронтовик обронил тогда фразу: «Нельзя есть дармовой хлеб. Если так будет всегда, то вскоре все кончится...»

Вот и рассказ подходит к концу. Однажды утром Отрок проснулся седым человеком и обнаружил, что время украло у него ту весну и целых две улицы – Пушечную и Неглинную, где на углу за чугунными воротцами находилась его Великая Школа Танца. А прекрасная Людэ после сцены оказалась в Америке и почти в сорок лет, говорят, родила близнецов – мальчика и девочку, а умерла в 2001 году в сентябре, к счастью, не видев, как рушатся здания-близнецы ВТЦ в Нью-Йорке. Но где-то в далеком стеклянном пространстве, словно парус, покинувший старую раму, реет молочно-матовый витраж, в котором все еще, как живая, стоит в высоком 1-м «arabesque» легендарная балерина двадцатого века Уланова... Из той весны... Уплывая в вечность...

Прощай, утро жизни.

\* \* \*

*Откуда-то возникает странный диалог: «Ты помог мне кончить... Я помогу тебе начать...» Это что? Жизнь по кругу? Нет, по вечности...*

*Все это проступило из ночи, из очень давнего-древнего, по имени молодость, сна и, словно на волшебной оборотной ленте Мёбиуса, становится то явью, то сном, хотя все записано на одной ленте судьбы... Оборот, наоборот, шиворот-навыворот и так далее. Так вот, от всего этого печаль становится порой невыносимой, и где-то в утробе зреет клубень злобы, но его надобно истреблять на корню, ибо это всё идет-прёт, как сорняк на поле, из черной дыры в космосе...*

Но пусть это не очень печалит тебя, печаль наша земная. Верь, мы научимся помнить только хорошее-доброе, ибо это записано на человеческой волшебной ленте Мёбиуса...

Говорят, все естественное идет по кругу, но есть и некто-некий, пытающийся поместить круг в квадрат. Это жесткая битва – черта белого и черного. Причем неважно: белый круг в черном квадрате или наоборот. Это все, конечно, из человеческих параметров геометрии, ибо Вселенная – все же окружность бесконечных размеров, а геометрия – вещь земная и зримая. Так вот, печаль наша вселенская, не бери в заботу квадраты-границы, а будь собой и расширьай душу человечесью по-вселенски, и станем мы служить тебе по твоим вечным законам-правилам бытия. И доверяйся тебе, мы сохраним себя даже в самой малой частице – атоме твоём или нотой в симфонии бытия.

\* \* \*

Волчица проснулась у Алтун-горы и думала...

– Я жила тысячу лет и выла на луну. Тысячу лет! У меня были волчата, но они однажды захлебнулись в норе. Весной, в половодье. И мой самец, самый свирепый черный волк, от тоски бросился со скалы, а до того загрыз двух пастухов и зарезал всех овец из того стада. А вы мне говорите, что я рычу? Что я бешеная? Да что вы знаете о бешенстве? Оказавшись среди вас, став одной из вас, я вновь захотела любить, и что я получила в ответ? Жалкие упреки, что я не такая, как вы? Да я лучше вновь стану волчицей, но вначале я отомщу. Да, и немедленно... Берегитесь, мужчины, ибо вы можете не опознать волчицу в обманутой вами женщине, и вас однажды найдут растерзанным в постели... у-у... волчица... луна...

О, не дай куда-то так смотреть в ночь, как осиротевшая волчица. И выть, как она. Но в это полнолуние решила волчица найти нового самца-волка и народить еще рычливых детенышей, горным оленям в остростку, да и людям в опаску, чтоб помнили, где грань меж человеком и зверем, и не переходили зверю тропу. Да, и луна так полнилась и круглилась, как будто это она – волчица уже обрюхатела и ходит на сносях. И так сиротливо и горько взвыла волчица-мать, что вспотели все звери в горах, мыши в норах ужались от ужаса, а птички забыли про щебет – такой охватил их страх-трепет. И только Алтун-гора понимала и жалела свою дочь-волчицу и желала ей удачной охоты в любви, под сияньем Млечного Пути.

Самое интересное... проснуться в 4.00 и услышать песнь некой птицы... она смотрит в ночь круглыми глазами, в которых отражаются звезды... а ведь это – Вселенная... Там, на белом просторе Млечного Пути, молча печалится Мама Вечная, и все пытается разглядеть, как идут дела на земле, в краю родном...

... женщина лоно-логосная, постигающая жизнь лоном, но не непостижимая мной... догоняющая рассветы давнего и убегающая от закатов будущего... женщина... ускользящая и всегда в нас живущая... стерегущая дом души нашей... и начало и край плоти вселенской, женщина, до нас бывшая и после нас пребудущая, зримо мир облекающая и без забот невозможная... водой с дерева стекающая и зерном в земле возрастающая... молнией во тьме сверкающая и потрясающая небеса дальние... первородная и первозданная и по праву первородящая детей и любовь... убивающая страхи-тревоги наши... заклинаящая небеса и пещеры

*земные и воды донные-темные... женщина, восклицая радостно и душу страхом томящая... освобождающая от тонн истом в рыке первобытного восторга и исторгающая из себя белое облако для дождей плодородных и долгих... женщина искрящаяся и во мгле возглашающая свет в лоне своем... женщина лоботомная-лоноплодящая лоно-логосная Праматерь наша... изроди-истоми нас и снова роди...*

\* \* \*

Есть нечто пугающее в тектоническом движении плит земных, когда даже змеи ползут из нор вверх. Некоторые, говорят, даже взлетают со страху ползучего. Может оттого у русских появился миф – Змей Горыныч. Где-то в незапамятные времена потрянуло где-то между Рязанью и Ростовом. Вот он взлетел из оврага какого или из-под валуна крутого. Чего только не бывает, особо в дальней древности. И не только на Руси. К примеру, очень далече от нас, в Мексике, у дремуче-древних индейцев. Там тоже что-то потрянуло или сильно плеснул цунами величиной с пяти- или даже двенадцатиэтажку, скажем, а может, и выше. Мы, казахи, к таким строениям не привычны. Максимально – это двухъярусная юрта, типа высокого ханского шатра. Вернемся к индейцам... Там у них внезапно выплыл другой змий, Кецалькоатль, кажется. А может, и не змий даже, а морской дракон-жылан. Что там началось! Жрецы ихние с испугу мистического стали своим же краснокожим сердца из живого человека вырывать, потом головы рубить и все это вниз по внушительной лестнице каменной сбрасывать. А там толпа орущая. Не то от ужаса, не то от восторга нутряного... За этим культовым языческим кровопролитием сразу же приплыли испанцы на галерах парусных, с конями своими и доспехами железными. С супержелезной-стальной жаждой денег во главе с брутально-бородатым Кортесом в кирасе. У бедных индейцев сразу крыша поехала. И вовсе не со страху, а от восторга. У них, оказывается, была самоубийственная легенда-вера о том, что из моря выйдут посланцы Кецалькоатля, как раз в год окончания их древнеслепящего календаря, по каковому явится новый спаситель-правитель их краснокожего народа. А от вида коней, да еще в сбруях-кольчугах, у них совсем ум повредился. Смешно. Ведь у нас, казахов, даже годовалые младенцы коней не боятся, а через пару лет даже садятся на них. Так уже не одну тысячу лет ведется. Еще со времен Ботая, где, кстати, первую лошадь приручили не брыкаться без толку. В общем, бедные индейцы-индюки (и тех, и других вскоре переведут в разряд биологических редкостей) сопроводили «кецалькоатлеподобных испанцев» через джунгли-пампасы к своему правителю, к вратам Теночтитлана, пред очи Монтекумы, если не перепутал эти сложные названия-имена-титулы. Что было во время этого перехода-похода, не знамо – не ведомо, но испанцы вскоре углядели на аборигенах всяческие висюльки-подвески из ЗОЛОТА! И, сопя от жадности, потея и испражняясь, вскоре дошли до врат вождельного Града ЗОЛОТА!! Правитель во главе огромной свиты-охраны и прочих служителей вышел, то есть его вынесли на паланкине, пред очи Кортеса и его кортежа убийц. И они увидели столько ЗОЛОТА!!! На правителе-свитепаланкине и прочих предметах-атрибутах власти, так что тихо-трудно вознесли про себя молитвы своему спасителю христоименному, единому во многих ликах-лицах и... ликовали! Тоже про себя! «Лафа!» – как бы сказали у нас в Алма-Ате. «Пруха-халява». Хай тебе, Христос и Кортес!!

Дальнейшее более или менее известно из хроник-легенд-басен кровавых, именуемых испанцами-европейцами историей открытий-завоеваний-покорений-истреблений бедно-голового почти народа, к слову, пешком освоившего целых два американских континента.

Дальнейшее или кошмарное, что описать не под силу слабому перу повествователя (разве что обратимся к «Аду» Данте или к «Гойескам» Гойи, как к образному эквиваленту, да и то в смысле отдаленного сравнения). Вскоре, придравшись к тому, что Монтесума неуважительно отнесся к Библии, испанцы-христоносцы без жалости порубали своими мечами тысячи индейских воинов, потоптали конями женщин и детей, вопящих от ужаса, а правителя праведного приковали к его же трону и заставили заполнить целые залы тем самым ЗОЛОТОМ слепящим, при виде которого у рубак-первопроходцев мерк даже образ их бога-создателя. Кстати, вся история колонизации-цивилизации «африк-азий-австралий» является бледной копией-перлюстрацией истинного лика носителей евро-американской культуры-культы обогащения-скотства и зверства, включая «уродов-гитлеровцев» еще недавно-памятных времен Второй мировой. А началось все это с «колумбов-америго-веспуччи-кортесов и служителей церковных-греховных», каковым место в аду или в каком похожем, или хуже, месте. Наверно, в доменной печи истории или на дне выгребной ямы, среди кала, мочи и червей-говноедов. Вот только очень жаль Монтесуму, наивного-казненного самым позорным образом, и его наивную веру в пришествие златовласого Кецалькоатля и наступление новой эры его несчастного краснокожего народа-страдальца.

*...Да, среди тех, кто видел побоище в Теночтитлане и казнь Монтесумы, была и молодая индианка – жрица сумерек, которая являлась одним из воплощений нашей святой Мамы Степной. И она, бедняжка, смотрела на то зрелище-изуверие и диву давалась страшному-горестному, что человеки, воспитанные, казалось бы, на самой Библии, могут такое сотворить с себе подобными...*

*...неужели, и ты, солнце, не ослепло – не угасло после такого?.. кто наделил злато такой убийственной силой?.. где сам человек, разумный?.. или то были inferнальные копии хомо сапиенса? Мама Степная, разъясни – утешь, дай надежду...*

\* \* \*

*Сквозь рассветный туман или вечернее марево все чаще стали людей обступать видения-миражи-воспоминания... С кем нам делиться всем этим во дни одиночества, кроме тебя, печаль-утешница... Так вот...*

*Есть один уголок заветный для танцующих в Москве. Пушечная – Неглинная, где раньше была школа танца. Вели туда чугунные ворота еще царского литья. Узорчатые и легкие, на просвет – будто кружево. И было в них некое волшебство, погружающее в дни далекие, а главное чудо в том, что сквозь те кружева старым выпускникам видятся лики давних друзей и учителей, словно время стоит в том дворе, как, скажем, день вчерашний... И знаешь, печаль, они становятся в таком состоянии много добрее, чем есть на самом деле, но что еще удивительней – они живут как бы в давнем времени-измерении, где остаются всё теми же отроками-юношами-девами, какими были тогда...*

\* \* \*

Только талая вода, наверное, знает, как хорошо стекать с горы высокой, от снегов до меньшей горы, а потом еще ниже до сопки, уже позеленевшей первой травой. Ведает и горный ветерок, каково это – оглаживать округлые склоны, покачивая кроны тополей-карагачей и иголки изумрудно-зелененьких елей, а затем медленно подниматься к скалам камнеломким и выше них – до ледниковых краев, где серебром отливают ручейки из-под снега. Тут уже полетные поля-территории горных орлов и владения пятнистых барсов, чей взгляд, может стать, быстрее пули, и пугливо-робких архаров, прыгающих с камня на скалу, на которых так охоч когтистый зверь-хищник.

У подножия этого великолепия (труд безымянного скульптора-архитектора и живописца), что называется отрогами Заилийского Ала-Тау, находилась станица Иссык, еще с царских времен заселенная казаками и русскими казаками, каковые давно превратились в усердных огородников-садоводов. Имелось две школы, интернат для казахских детей-сирот войны, и детдом, где жили-учились в основном русские дети-подростки, чьи отцы остались на далеких фронтах Отечественной. В начале войны, зимой 41-го года, здесь поселились ссыльные чечены. Им не доверял вождь-Сталин, а потому и отправил товарняками, целыми семьями с жалкими пожитками, когда фронт приблизился к кавказским горам. Местные встретили их хоть и настороженно, но помогли, чем могли, по естественной своей доброте и древним правилам-законам степного дружелюбия. Вскоре всё стерпелось-притёрлось, и жизнь потекла, как ручьи с гор. Позже чеченов, когда фашисты подошли к Волге, осенью 1942-го, в добрую станицу выслали и приволжских немцев, у которых не наблюдалось даже намеков на агрессивность их германских сородичей. Странно, нация вроде бы одна, а менталитет, как сказали бы теперь, совершенно разный. Как у птиц. Есть ястребы, есть и воробьи-пичужки. В общем, в Иссыке собрался некий тыловой интернационал, где все вместе на праздники пели: «Мы наш, мы новый мир...»

Так бы в Иссыке и жили все «сами по себе», но в середине 50-х директор казахской школы-интерната расчистил площадку для футбольного поля, поставил ворота с сетками и... всё поехало, как с горки телега. Первыми стали гонять мяч казахские пацаны – дети учительского сословия, дальше образовались в команду русские ребята, затем немцы и, наконец, чеченцы. Понятие о правилах у них были самые общие, но у всех имелось свое, видимо, чисто национальное видение игры. Самым специфическим являлся чеченский взгляд на эту игру. Кровный, как бы сказали сегодня. За время, так сказать, матча вспыхивало по десять и более микростычек, ибо убедить чеченского пацана, что он не прав, что он промахнулся по воротам, было почти невозможно. Они что-то дико кричали по-своему, особо, если мяч влетал в их ворота. Тут начиналась такая вакханалия эмоций, хоть милицию вызывай, но милиционер на всю станицу был один, и ему не до сопляков... дальше обойдемся без объяснений. Правда, директор-фронтовик иногда пытался быть судьей, но быстро понял, что эту стихию ничто не в силах упорядочить. Так и играли года два-три, пока детдомовцы не вызвали нас на игру, естественно, с разрешения директоров. Наш директор – дядя Толя-Толеутай-ага, а с их стороны – Булат Днишев очень серьезно отнеслись к этому товарищескому матчу, тем более что это пришлось на 9 мая. День Победы! Началось все более-менее нормально, и счет шел поровну до конца игры, пока дело не дошло до

чеченцев, до Вахи-лидера, так сказать, своих горцев. Назначили 11-метровый в наши ворота, как раз за фол Вахи. Бац! Удар – гол! Ваха бросился на «детдомовского» капитана и врезал ему. Что тут началось! Скоро все футболисты вместе с запасными мутузились у ворот, пока не раздался выстрел стартового пистолета. Это Булат-ага решил остановить бучу, пока в нее не нырнули старшие ребята. В момент этой общей растерянности-неразберихи интернатский вратарь Саша Бейм и Ваха тихо погнали мяч к другим воротам... все смотрят, ничего не понимая... вратарь соперников тоже не врубился... в пяти метрах Ваха с каким-то древнечеченским кликом-девизом врезает мяч в ворота... Бац! Гол!! Свисток судьи... Матч окончен... Ничья... Директора, переглянувшись, объявляют ничью... Честь Исыка спасена, то есть Есік – или дверь понимания всегда будет открыта. Ур-ра!!!

*...вулканы чувств... изверженья памяти... селение у гор и футбол!.. братство синих сердец – детство!! Ни один наш матч не проигран!!! Мы победители от детства до старости... зачем иначе отцы-деды гибли и поставили всё на своя... дело не в «г...»... всё в отцах, в Отечестве и в том футболе... речка со снегов... травы из лугов... доброе Отечество детства...*

Вернемся... У станицы Исык выше, в горах бело-синих, был тезка – высокогорное озеро Исык. И сестренка у них была – речка Исык. Все горячее, как сердце на снегу-леднике...

И... произошло... за грехи-святости низинной станицы Исык... некто обрушил на озеро-девочку Исык сель убийственный-грязный-каменный поток... вспыхнула девочка-девственница среди гор высоких и... рухнула грязь слепая-ярая по ущелью с гор, да с камнями, да с корнями высоких елей, да с мечтами снегов на вершинах... кто сдвинул озеро Исык на станицу Исык по речке Исык? ... троеклятие... разве деревья не есть существа живые, с корнями, листвой, гнездами и птицами в них?.. кто сподобился на невиданное?! Навлечь гнев... может, живущие были грешны?.. но они растили сады-огороды, детей, гоняли мяч счастья и стали родственны по великому правилу степей...

Кто сдвинул стрелки в часах вечности-повседневности? Что-то случилось неведомое, и озеро (высокое-чистое) двинулось по руслу речки на селенье-станцию Исык-Есік. Конюх Сагат понял это, когда его сбросила с себя его любимая воспитанница, белая кобылка-белка... упав, ощутил нутрянную дрожь земли и ринулся вверх, к ближайшей сопке... кобылка-белка неслась стремглав, в безумии лошадином, вниз... грохот стоял, как во время обстрела Берлина в 45-м, тоже в мае... едва взбежал на полсклона, как увидел мальчика-чечена Ваху, что забил недавно ничейный гол... он подхватил его и втащил на горку, удивляясь тому, что ни один камень катящийся не задел их... когда вдруг наступила отчаянная тишина, Сагат-конюх увидел, что они стоят на сопке размером в «пять на пядь», а внизу ущелье, полное камней молчанья... Ваха еще дрожал, а дядя Сагат думал, что этот чеченёнок забил 9 мая лучший гол на планете... лето... сель 1963... Ваха... спасенье...

...чистый день... ясный... так бывает у весеннего ясеня, когда он ведает, что ему дана еще одна весна... у предгорий Тянь-Шаня приилийского есть своя природа-душа... там, где горы сливаются со степью, зная о токах вод небесных и подземных... вот лишь одно лето-воспоминание о футболе, воротах, о голе!.. об Исыке

в трех измерениях-ипостасях-повседневности своих «станичных лет» в начале 60-х... да где ты, орел молодой, всё это видевший?.. где орлята твои, игравшие свой футбол с высотой-ветрами-временем? Не покинь небеса... дай оглянуться назад, пока не поднимешь глаза «горé»... а у нас, казахов, вниз, в степь-родину – к предкам... и через То вновь вверх, к ним, надгорным высям степей?..

*...к кремню-искре-огню... к простым спичкам-зажигалкам... к очагу потом.. неведомо кто зажигал?.. так кто ты – зажигатель огня, вспышки-пламени большого... еще возжёт, и опалился, не убежал в пещеры от огня-пожара... благодарю за храбрость, за риск, за радость у огня... укрощенного тобой... твои ожоги у меня на сердце, в зрачках и в том, что есть мой предок-темнолюб... а дальше – Тайна...*

Есть даже посмертные слезы у Мамаы. Когда Ваха стал в 90-х во главе одной из самых жестоких чеченских мафий в Москве и так далее, он всё же остановил четыре своих чёрных «мерседеса» у Большого театра, когда увидел одного казахского футболиста из той игры. Были «неузнанки», но бывший «вратарь» никак не мог поверить, что в гостинице «Метрополь» лучший номер дали ему – вратарю из давней игры... Иссык-Есік-Дверь. Конечно, Ваху позже «замочили», но Мамаа думает: он же не хотел такого. С его отцами-мамами такое сделали ещё в «той войне»...

\* \* \*

Сейчас хозяин Беке выкорчевывал старые яблони. Как хорошо росли они когда-то в этом саду. Цвели так, что любое горе забудешь. Еще дед с прадедом садили, а яблоки были с полкило каждое. Красные снаружи и вкусно-белые внутри. Пахли да одури. Апорт – одним словом. И секрет у них был свой. До зрелости, до конца августа не сорвешь – такие кислые. Словно девушки до своей алой любовной поры... А потом вдруг, за неделю наливались вкусом с такой сахарно-хрустящей сердцевинной-мякотью, которую разве что с райскими плодами можно сравнить. Но тех никто, кроме первых людей на земле, говорят, не вкушал, а эти были чистое волшебство. Одно яблоко и лепешки из тандыра хватало на хороший обед...

Корчевать было трудно и больно. Не один, конечно, корчевал. С соседом и двумя мужиками на подхвате. Работа чертовая, как на бойне. Окопаешь, затем ствол на цепь-петлю и тянешь трактором. Как будто казнь, виселица наоборот. До того дня три пилили стволы, каменные от старости. И еще, казалось, от обиды. Росли они – яблони, цвели-плодоносили, отдали яблокам, а стало быть, детишкам-людям всю кровь-жизнь древесную, и вот их теперь спилили, да еще так невыносимо корчуют-казнят. А за что? Вопрос этот, казалось, дрожал на рвущихся жилах их корней. В соседнем дворе трещали сороки, раздосадованные шумом моторов, а собака тихо подвывала в конуре. Яблони тяжело расставались с жизнью своей садовой, с ветрами, солнцем, дождями и той привычно-прекрасной панорамой пестро-синих и непостижимо-белых и в летнюю жару гор Заилийского Ала-Тау, у подножия которых когда-то впервые зацвели они. У-у, как же так?! А какие птицы-синицы в кроне пели, а в гнездах щебетали-галдели мальцы-птенцы, и крона казалась уютным зеленым домом?..



Впрочем, и хозяину было не по сердцу все это дело, казнь-корчевание. Он отпил из чекушки горловой глоток и закурил, глядя в горы. Словно из него самого жилы тянули и куда-то под ребра крюк воткнули... Но что поделаешь тут? В последние двадцать лет на земле, где рос великий сорт – апорт, в этом цветущем яблочном племени начался мор. На безупречных ранее плодах стали появляться пятна, затем в сердцевинах яблок обжились черви, а позже болезнь поразила стволы деревьев и корни их. Что эта за чума такая нашла на апорт алма-атинский, никто не знал, но яблоки заметно деградировали и обмельчали, а вкус и вовсе потерялся. Собственно, все это вместе взятое, в крепкой замеси с переменами в жизни и смертью советской страны (легендарной и ужасной, как сказочный див или казахская старуха-кемпир с медными ногтями), и стало причиной гибели дедовского сада. Хозяин курил, думая обо всем этом (странном-непонятном-скверном), как вдруг что-то противно и тихо тенькнуло.

Это оборвалась жилка-корень последнего пня-выворотня, и старый сад сразу стал похож на тело мертвеца, умершего от бубонной чумы. В тот же миг со стороны гор послышался аккорд дальнего органа. Сороки-грачи из соседнего двора враз умолкли, а собачонка, визгнув, исчезла в конуре. Внезапно на ограде сада явились птахи-скворцы во главе со старым белым соловьем и стали петь в унисон органу с гор. Вообще-то стояла тишина, но хозяину показалось и послышалось именно так, хотя трактор, увозивший последний выворотень, был явственен, а сосед вполне обыкновенно проговорил, вздохнув:

– Ну, вот и «писец» пришел и всё описал. Дай закурить. А помнишь, какой сад был знатный? Я сам в детстве у вас яблоки воровал-тырил... Да что там? Все там будем...

Потом стояли и молча курили, но хозяин продолжал видеть птиц на заборе и слышать орган.

\* \* \*

*Как не похожи заря весенняя и заря же осенняя... первая расширяется и несет надежду с призывом: раньше проснешься – раньше обретешь... вторая угасает с каждым из нас, как костры увядающих деревьев, и достаточно сильного ветра, и кроны золотые облетят-сорвутся-упадут и станут тленом... Чем утешиться нам, печаль добрая, если еле-еле держится еще крона наша вся в серебре, как ива над старым прудом?.. Послышался голос незвучный: «Занесите на каждый листок увядающий имена тех, кто восхитил, или любил, или ободрил, помогая бабушке очаг возжигать, собирал с тобой вместе хворост и лепехи коровьи... вот тогда и войдете в дом зимы и сольетесь сединами со снегом летящим... и кто знает?.. полетите, может быть, напоследок над тихой землей и забытым селеньем, где когда-то явились на свет...»*

*Заря вечера переходит в ночь, но звёзды светят.*

\* \* \*

*У каждого должен быть свой тихий ангел, которого мы не замечаем. Если он есть, то все наши дерзания удадутся, неудачи забудутся и в дни сомнений получите новое вдохновение и пойдёте баламутить скучную тишину повседневья-быта.*

Ангелом Вечной Мамы была тихая бабушка Тамам, и мнится, что она чем-то схожа с тобой, лучезарная печаль. Говорят, она была второй женой – токал незаконной деда нашего, родилась в тусклое время потрясений, голода и прочих советских напастей, родила Маму Вечную, передав по генетической линии некий магнит, притягивающий беды и редко удачу или краткую любовь. Надо было видеть ее неустанные заботы, а это не всегда удавалось даже близким, так умела она быть незаметной в трудах семейных своих, всех раньше вставала и засыпала позже, но все вещи и причины вещей были всегда на местах в свой час и в нужном порядке. И всем хватало её тихой грусти, что никогда не забывается. Бабушка наша Тамам нет-нет да явится даже среди повседневно, будто хлопоча о чем-то, как бывало давно. Всем ли девам-женщинам-женам, что ныне живут, дано стать такими, даже если неведомы им лихо и одиночество сердца, что досталось аже-бабуле нашей ещё с годов молодых?.. Ну да ладно об этом, а не то совсем загрустишь-занедужишь, моя Вечная Мама, но сегодня светло должно быть у тебя на душе, а на рассветном небесном дугу вспыхнет звёздочкой бабушка-ажешка наша, совсем молодая... Над нею летят журавли небесные, и она им машет рукой, будто желая полета спокойного-долгого-вечного. Вот и думается: не сама ли она, бабушка, из стаи той... А?



**В ноябре 2018 года отмечают:**

**80-летие**

Отен АХМЕТ, прозаик

**70-летие**

Жангара ДАДЕБАЕВ, критик, литературовед

Сырым РАХИМОВ, поэт

**60-летие**

Болат БЕКЖАНОВ, прозаик

Мади КАЙЫНБАЕВ, поэт

**Редакция журнала «Простор» сердечно поздравляет юбиляров!**

